**7 КЛАСС**

**РАЗДЕЛ 1. РОССИЯ – РОДИНА МОЯ (9 ч)**

**Преданья старины глубокой (3 ч)**

Русскиенародные песни: исторические и лирические

«На заре то было, братцы, на утренней…», «Ах вы, ветры, ветры буйные…»

[[176](https://ru.wikisource.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0:%D0%A1%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%A7%D1%83%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0._%D0%A2%D0%BE%D0%BC_I_(1913).djvu/198)]

**134**

На заре то было братцы на утренней,  
На восходе краснова солнышка,  
На закате светлова месяца,  
Не сокол летал по поднебесью.  
5 Ясаул гулял по насадику;  
Он гулял, гулял, погуливал,  
Добрых молодцов побуживал;  
Вы вставайте добры молодцы,  
Пробужайтесь козаки Донски!  
10 Не здорово на Дону у нас,  
Помутился славной тихой Дон,  
Со вершины до Черна моря,  
До Черна моря Азовскова.  
Помешался весь казачей круг;  
15 Атамана больше нет у нас,  
Нет Степана Тимофеевича,  
По прозванию Стеньки Разина;  
Поймали добра молодца,  
Завязали руки белые,  
20 Повезли во каменну Москву,  
И на славной Красной площади  
Отрубили буйну голову.

Фольклорные сюжеты и мотивы в русской литературе

**А. С. Пушкин.** «Песни о Стеньке Разине» (песня 1).

**Александр Пушкин**

**Песни о Стеньке Разине**

1.

Как по Волге-реке, по широкой  
Выплывала востроносая лодка,  
Как на лодке гребцы удалые,  
Казаки, ребята молодые.  
На корме сидит сам хозяин,  
Сам хозяин, грозен Стенька Разин,  
Перед ним красная девица,  
Полоненная персидская царевна.  
Не глядит Стенька Разин на царевну,  
А глядит на матушку на Волгу.  
Как промолвил грозен Стенька Разин:  
«Ой ты гой еси, Волга, мать родная!  
С глупых лет меня ты воспоила,  
В долгу ночь баюкала, качала,  
В волновую погоду выносила,  
За меня ли молодца не дремала,  
Казаков моих добром наделила.  
Что ничем тебя еще мы не дарили».  
Как вскочил тут грозен Стенька Разин,  
Подхватил персидскую царевну,  
В волны бросил красную девицу,  
Волге-матушке ею поклонился.

2.

Ходил Стенька Разин  
В Астрахань-город  
Торговать товаром.  
Стал воевода  
Требовать подарков.  
Поднес Стенька Разин  
Камки хрущатые,  
Камки хрущатые —  
Парчи золотые.  
Стал воевода  
Требовать шубы.  
Шуба дорогая:  
Полы-то новы,  
Одна боброва,  
Другая соболья.  
Ему Стенька Разин  
Не отдает шубы.  
«Отдай, Стенька Разин,  
Отдай с плеча шубу!  
Отдашь, так спасибо;  
Не отдашь — повешу  
Что во чистом поле  
На зеленом дубе,  
На зеленом дубе,  
Да в собачьей шубе».  
Стал Стенька Разин  
Думати думу:  
«Добро, воевода.  
Возьми себе шубу.  
Возьми себе шубу,  
Да не было б шуму».

3.

Что не конский топ, не людская молвь,  
Не труба трубача с поля слышится,  
А погодушка свищет, гудит,  
Свищет, гудит, заливается.  
Зазывает меня, Стеньку Разина,  
Погулять по морю, по синему:  
«Молодец удалой, ты разбойник лихой,  
Ты разбойник лихой, ты разгульный буян,  
Ты садись на ладьи свои скорые,  
Распусти паруса полотняные,  
Побеги по морю по синему.  
Пригоню тебе три кораблика:  
На первом корабле красно золото,  
На втором корабле чисто серебро,  
На третьем корабле душа-девица».

1826 г.

**И. З. Суриков.** «Я ли в поле да не травушка была…»

**Иван Суриков**

# Я ли в поле да не травушка была

Я ли в поле да не травушка была,  
Я ли в поле не зеленая росла;  
Взяли меня, травушку, скосили,  
На солнышке в поле иссушили.  
Ох ты, горе мое, горюшко!  
Знать, такая моя долюшка! Я ли в поле не пшеничушка была,  
Я ли в поле не высокая росла;  
Взяли меня срезали серпами,  
Склали меня на поле снопами.  
Ох ты, горе мое… и т. д. Я ли в поле не калинушка была,  
Я ли в поле да не красная росла;  
Взяли калинушку поломали  
И в жгутики меня посвязали.  
Ох ты, горе мое… а т. д. Я ль у батюшки не доченька была,  
У родимой не цветочек я росла;  
Неволей меня, бедную, взяли  
И с немилым седым повенчали.  
Ох ты, горе мое… и т. д.

**А. К. Толстой.** «Моя душа летит приветом…»

**Алексей Толстой**

**Моя душа летит приветом**

…Моя душа летит приветом  
Навстречу вьюге снеговой,  
Люблю я тройку удалую  
И свист саней на всем бегу,  
Гремушки, кованую сбрую  
И золоченую дугу.Люблю тот край, где зимы долги,  
Но где весна так молода,  
Где вниз по матушке по Волге  
Идут бурлацкие суда.Люблю пустынные дубравы,  
Колоколов призывный гул,  
И нашей песни величавой  
Тоску, свободу и разгул.Она, как Волга, отражает  
Родные степи и леса,  
Стесненья мелкого не знает,  
Длинна, как девичья коса.Как синий вал, звучит глубоко,  
Как белый лебедь, хороша,  
И с ней уносится далеко  
Моя славянская душа.

**Т**

**Города земли русской (3 ч)**

Сибирский край

**В. Г. Распутин.** «Сибирь, Сибирь…» (глава «Тобольск»).

### **Сибирь, Сибирь...**

### **Распутин Валентин**

## ТОБОЛЬСК

В сибиряке Тобольск, хоть бывал он в нем, хоть не бывал, живет так же, как в россиянине Москва, как в славянине Киев. Древлестольный былинный Киев, первопрестольная красная Москва и восточный стольник, под управой которого находился огромный полунощный край, младовеликий Тобольск. Удалью русского человека добытый и поставленный, удальством живший, леворукий у Москвы, но ох длинна была эта рука и много она пригребала Москве! У Киева Владимирская горка, у Москвы под кремль Красный холм, у Тобольска — тридцатисаженный Троицкий мыс при слиянии Иртыша и Тобола, с которого открываются для прозора по-сибирски удесятеренно размашистые картины, и открываются они туда, куда и приставлен был смотреть Тобольск, — на восток.

Тобольск появился на свет в ту пору, когда с присоединением Казани и Астрахани Русь только-только переходила в Россию. Но волжские земли до самого устья всегда были как бы свои, самой природой предназначенные под одну руку, еще не прибранные «украйны», прибор которых оставался делом времени и силы. Но дальше природа рубеж Уралом поставила слишком заметный. Это обстоятельство тоже играло, надо полагать, не последнюю роль в замешке Ивана Грозного, остановившегося за Волгой. Он еще именует себя, не привыкнув к титулу царя, одновременно и великим князем всея Руси. А уж недалеко оставалось до империи. И появление Тобольска, а вместе с ним скорый прибор многих языков и стран на востоке, для перечисления которых при поименовании самодержства государя у писцов не хватило бы чернил, явилось для защиты крепкими воротами, а для завоеваний — широкими и прицельными. Роль Тобольска, как сама собой разумеющаяся, в приращении территориального российского могущества историками обычно не взвешивается, а она потянет зело много. Еще до побед Петра Великого отец его Алексей Михайлович, благодаря одним только сибирским приобретениям, мог бы именоваться императором. И в царствование Петра азиатская Россия не передоляла ли европейскую, из Москвы и Петербурга за Урал от великости поприщ можно было смотреть только с закрытыми глазами; чудь, и переписанная поименно воеводами, все одно оставалась чудью. И только Тобольск со своего Троицкого холма должен был все видеть и знать, разведывать и догадываться, строить и прибирать, требовать и обещать, повелевать и ответствовать, озабочиваться продовольствием и провиантом, людьми служилыми, надельными и мастеровыми, мягкой рухлядью и рудами, вести учет и догляд, казнь и милость, вести дипломатию с местными князьями на всем протяжении огромного края и с иностранными владыками за его пределами.

Он был столицей Сибири, отцом сибирских городов. Лишь Москва и Тобольск могли принимать послов и отправлять посольства. Все, что утверждалось в Сибири, — летописи, училища, книги, театр, науки и ремесла, православие, ссылка, лихоимство, фискальство и т. д., — все это и многое другое начиналось с Тобольска и только после распространялось вглубь. Во всем он был первым. В 1593 году он принял первого ссыльного — угличский колокол, возвестивший убиение царевича Дмитрия, а спустя триста с лишним лет, после Февральской революции в 1917 году, — последнего русского императора с семьей. К этому времени, к моменту высылки Николая II, Тобольск давно захирел, потерял всякую самостоятельность и своей громкой бедностью как нельзя более подходил для утратившей власть династии. В этом был какой-то рок, судьба, какая-то холодно и тяжело взыскующая справедливость. Но она же, судьба, от последнего, от греха и ославы гибели царской семьи, Тобольск отвела.

По Тобольску, по его истории, нравам, мешанине населявшего его люда, удачному для нашего случая разделению на верхний и нижний города, по взлетам и падениям можно почти безошибочно составлять портрет русского характера в Сибири, который постепенно переходил своими отличиями в сибирский, но не успел и снова соединился в одно с русским, теряя затем и эти черты. Новейшая история Тобольска лишь подтвердит лицо теперешнего сибиряка. Понятно, что характер больше всего вызревает в глубинах страны, там же, где вызревают хлеба и ремесла, но как результаты трудов везли в прежние времена на ярмарку, так и его черты заметней проявлялись в городах, где жизнь шла побойчей и пооткровенней.

Начинать рассказ о Тобольске следует, пожалуй, с факта, что, будучи в Сибири долгое время во всем первым, сам Тобольск не был здесь первым русским городом. Хоть чуть, но опоздал. И тут хочешь не хочешь, а надо возвращаться к Ермаку.

Ни одна, похоже, историческая личность не оставила нам столько загадок, сколько Ермак. И в этом оказался он казаком, заметавшим за собой следы. Споры вокруг его имени, мотивов и подробностей похода начались в 18-м столетии, продолжались в 19-м, не кончились и сейчас. И чем больше разгадывают истину, тем больше запутывают. Меняется дата начала его похода и дата гибели, не однажды переиначивались и обстоятельства самой гибели; Строгановым то отказывают в пособничестве Ермаку, то признают; разные историки, пользуясь разными источниками (а разнобой в сибирских летописях — как гвалт ударившихся в воспоминания, друг друга перебивающих и обрывающих пьяных казаков) и разными предположениями, то одной битве придают значение, то другой, путаются в потерях, именах татарских и русских, погибшие встают из могил и участвуют в сражениях, именитые пропадают неведомо куда. И так без конца и без края.

Вот и сам Ермак — не было в святцах такого имени, стало быть, кличка. Но откуда она взялась — от созвучия ли с именем или действительно от артельного котла, называвшегося ермаком, когда будто в молодости кашеварил в волжской ватаге будущий завоеватель Сибири, или откуда-то еще. Кажется, никто не оспаривает, что в поход он шел Ермаком. Но в татарском языке есть это слово, означающее прорыв, проран. И если согласиться с историком прошлого века Павлом Небольсиным, что Ермак и прежде своего звездного прорыва бывал на Чусовой и знал пути в Зауралье, не мог ли он в таком случае сталкиваться с татарами в коротких набегах раньше и получить свою кличку от них за военную удаль. Этой догадкой больше того, что запутано, все равно не запутать, а ежели правда лишний раз и охнет от досады, нам не услышать.

Обо всем спорим. С детства знали по Карамзину, что столица Кучума, занятая Ермаком, называлась Искером или Сибирью. Позже Искер как-то само собой стал заглыхать перед более привычной Сибирью, появились и предположения, что название это было совсем в другой стороне. Хорошо: Сибирь. Город, давший имя всему зауральскому материку, а этимологически означавший центр, сборный пункт. Только установились, историки переправляют: не Сибирь, а Кашлык — так писалось в летописях. И будто был этот город до того мал, что триста или четыреста оставшихся в живых Ермаковых казаков перезимовать в нем не поместились и ушли в устье Тобола в улус Карачи, где и провели все три зимовки. Если так, то кого осаждал с ранней весны несколько месяцев татарский мурза Карача, когда среди осажденных в Кашлыке называются и Ермак и его атаман Мещеряк (Кольцо к тому времени погиб)? Не собираясь вступать в дискуссию с историками, у которых там, где не хватает документов, должно бы быть чутье, способное проникать за века, нельзя все же не заметить, до чего они вошли во вкус раскольничьего толкования Ермаковой истории, предлагая раз за разом все новые и новые версии, строящиеся как не на иртышском ли песке. Как бы ни противоречили одна другой летописи, но нигде в них, и это вынуждены признать историки, нет упоминания о карачинской зимовке. Откуда же она взялась? Вероятно, из желания связать концы с концами в своей схеме, мало считаясь с тем, что стало фактом.

Точно так же почему-то главная битва у Чувашского мыса, к которой Кучум успел приготовиться, сделав засеки и вал, собрав многочисленную рать (накануне чуть было не дрогнули казаки при виде Кучумова войска), обратилась нынче в незначительный эпизод, в приключение, в исторический дым без огня. Казаки при начале боя дали залп, остяцкие князьки показали тыл, Кучум, следивший за боем с горы, после ранения царевича Маметкула не мешкая обратился в бегство, открыв путь к своей столице. У казаков потерь якобы почти не было. «Бысть сеча зла, за руце емлющи, сечахуся» — преувеличение. И опять вперекор со свидетельствами Ермаковых казаков из синодика. Мол, составлялся синодик спустя сорок лет после события, и казаки мало что помнили. Не помнили, где им выпал главный жребий в сибирской судьбе — здесь или в Абалаке? Да об таком истлевающие кости и те не забудут и не перепутают. Тем более что писался когда в Тобольске синодик, Чувашев мыс был тут, под носом у них, в полутора верстах от Тобольска.

Но уже пошло подхватываться из книги в книгу: не Ермак сбил с сибирского куреня Кучума, а Кучум отдал его чуть ли не добровольно. Бои происходили позже. Казакам, оставившим воспоминания, ни в чем доверять нельзя. Вот что значит привнести в историю увлекательную новизну.

Без малого 150 лет назад П. Небольсин с мудрой иронией заметил:

«Слепое счастье! Надобно же было простому казаку, волжскому казаку, забрать в голову счастливую мысль идти в Сибирь; надобно же было счастью помочь ему счастливо добраться до Сибири, счастливо побеждать татар, счастливо не умереть с голоду, счастливо не замерзнуть от морозов, счастливо обладать Сибирью, счастливо три года держаться в ней, счастливо не упустить ее из рук, счастливо указать путь другим, счастливо заставить все потомство чтить его память…

Нет, тут уж из рук вон много счастья!

Невольно вспомнишь слова другого русака-счастливца: «Все счастье да счастье — надо же, помилуй бог, ведь и ума сколько-нибудь!».

Как бы то ни было, какими бы жертвами ни досталась победа у Чувашского мыса, но она открыла дорогу в Искер — Сибирь-Кашлык. Чувашское столкновение произошло, по прежним сведениям, 23 октября 1581 года, по нынешним поправкам — 26 октября 1582 года. Не вступая в спор о годе, что у Р. Скрынникова, на которого мы ссылаемся, является наиболее доказательным, прицепимся тем не менее к числу, поскольку оно исправлено на том основании, что Ермак вступил в Кучумов город 26 октября, стало быть, и бился он тем же днем и трое суток терять ему было негде. Негде? Но вспомним принятое «стояние на костях», когда хоронили павших, сбирались с силами и принимали меры против неожиданного нападения. Ермак был в чужой стране, сведения мог получать только от «языков» и, прежде чем двигаться к Сибири, до которой еще и грести оставалось верст с пятнадцать вверх по течению, должен был внимательно оглядеться и приготовиться к следующему, чрезвычайно важному шагу, не сделать ошибки и не поддаться опьянению от победы.

Ермак должен был оглядеться, и другой мыс, называвшийся у татар Алафеевской горой и названный впоследствии русскими Троицким, при слиянии Иртыша и Тобола, он не мог не заметить, тот был рядом. На нем к тому же было поселение и жила одна из Кучумовых жен. Проезжая и проплывая в три своих сибирских года многажды мимо и будучи «вельми разумен», не мог он не оглядываться на него: сразу две реки под прозором и до третьей, до Оби, недалече, вот бы где поставить острог. Можно предполагать, что Ермак отыскал место Тобольску еще до его зарождения и поименования, место само просилось под выбор и застройку.

И когда спустя два или три лета после смерти Ермака письменный голова Данила Чулков в 1587 году спускался по воде из Тюмени, посаженной за год до того и ставшей таким образом первым русским городом в Сибири, он знал, куда правил. Ладьи его приткнулись к крутому берегу под Алафеевской горой, и казаки без разведки принялись за разгрузку. Среди тех, числом в пятьсот (это число так часто повторяется при отрядном счете, что поневоле, подобно татарскому слову «Тюмень» — тысяча, принимается за обозначение множественности), так вот среди тех, кто прибыл с Данилой Чулковым и расчал Тобольск, были и ветераны, Ермаковы сотоварищи. С этого времени сибирская история худо-бедно пошла в ногу с событиями; она вспоминает, что, разгрузив свои струги, казаки принялись и их разбирать и потянули борта и днища в гору, чтобы пустить на острожное строительство.

Но попервости именно и худо, и бедно. Сибирский историк П. Словцов, не давая пояснений, почему-то относит первую закладку Тобольска к 1586 году, а следующим летом он переменил якобы место и встал там, где находится и поныне. Словцов изыскатель до исторической правды был строгий и дотошный, выговаривавший самим отцам сибирской истории Миллеру и Фишеру за пропуски и неточности, а уж слогатаев-летописцев иркутских и прочих готовый и по смерти пороть за то, что вели они не летописи, а станционные записки о приезде и выезде чиновников да амбарные книги о прибытии караванов. И основания, пусть и глухие, начинать хронологию Тобольска с перемещения у него, вероятно, имелись. Но были основания и не настаивать. Так или иначе, но Тобольск ведет свою родословную от года 1587-го, с которого, когда бы не пожары, не однажды истреблявшие главный сибирский град дотла, нам не представляло бы теперешних трудностей искать концы и начала.

За лето дружина Данилы Чулкова поставила острог, укрепила его, а в нем вознесла небольшую церквушку в честь живоначальной Троицы, от которой название, погребя под собой старые поименования, перешло на весь мыс и холм. Нет, не могли, возводя крепостцу, не чувствовать казаки победоносного и благословляющего соседства Чувашского мыса: «понеже ту бысть победе и одолеши на окоянных… вместо царствующего града Сибири (Искера) старейшина бысть сей град Тобольск…» Много позднее, когда будет отстроен белокаменный кремль, в Сибири И. Завалишин скажет, что нет города более картинного, чем Тобольск. И это правда до сей поры. В Сибири, по крайней мере, нет и быть не может, пока, вопреки чертежникам, не вернется архитектура.

Но Тобольск был «картинен» с самого начала, еще до Софийского собора, до Рентереи и всего кремлевского ансамбля. Лишь не до такой вдохновенной высоты, не до духовного совершенства, не до полной слиянности рукотворного с нерукотворным, не до грудного распора при взгляде снизу от Иртыша — эх, живая былина да и только! — но красотой и вдохновенностью природной, которую умело подхватил, не споря с творцом, человек. Еще и в деревянном завершении дело его рук должно было напоминать корону, пусть скромную, без позолоты и блеска, не столь величественную, как впоследствии, но достаточно красноречиво являющую власть. Разбогател, прославился коронованный град — сменил и корону. Жаль только, что нельзя было, сняв старую, поместить ее в хранилище, где бы могли мы любоваться ее рисунком и посадкой. Памятники тех времен (ровно тех в Сибири быть не может, то, что сохранилось, например, Братская острожная башня, на полвека моложе) дадут представление о крепостных сооружениях, подобные которым могли быть в Тобольске, но не о Тобольске. Все в нем, даже самое обыкновенное, должно было стоять и смотреться по-иному, внушительней и ярче, потому что стояло высоко, державно и царило далеко, как ныне царят, захватив власть, телевизионные вышки. Совсем недавно, к слову сказать, тоболяки всем миром с великим трудом оттеснили ее, новую владычицу наших умов и душ, из кремля, где телевышка выбрала себе место, пугая население, что ниоткуда больше она показывать картинку не станет. Только из кремля, чтоб сверху вниз смотреть на Софийский собор и его колокольню. А подвинули — ничего, показывает и от кладбища, иной раз выдерживает даже и Троицкий мыс в кадре, где чудом, сказкой и музыкой парит восстановленный Софийский двор.

Тобольск Данилы Чулкова простоял недолго: наскоро и тесно срубленный, он сыграл свою роль, заключавшуюся в том, чтобы твердою ногою стать при сибирской степи, и, как только это произошло, должен был уступить свое место более просторному и, надо полагать, более «картинному» острогу. Но на исходе первого же, судя по всему, лета, еще до конца не отстроенному, ему представился случай отомстить за смерть Ермака, его ближайшего сподвижника атамана Ивана Кольцо и многих казаков, погибших не в честном бою, а в результате обмана и вероломства. При всех разнотолках, до сих пор сопровождающих поход Ермака, есть события, в которых появляется согласие, говорящее о бессомненной подлинности. Ивана Кольцо, того самого, кто повез от Ермака царю известие о взятии Сибири, по возвращении из Москвы мурза Карача вместе с отрядом в сорок человек погубил совсем уж из рук вон подло: уговорил пойти с ним вместе против якобы притеснявшей его казахской орды, сыграв на чувствах искавших с ним мира русских, и при первом же удобном случае уничтожил всех до единого. И Ермак погиб, поверив ловко пущенным слухам о бухарских купцах, которых он решил перехватить, чтобы не дать им добраться до Кучума. Какими бы ни были последние минуты и обстоятельства смерти Ермака, не вызывает сомнений, что его обманули, заманили подальше от своих, шли за ним огромной силой и среди ночи напали. В этом все легенды послушно становятся былью.

И вот пришел черед без длинных и хитроумных замыслов, благодаря удаче, на коварство ответить коварством и одним махом освободиться от самых опасных врагов. Кучум к той поре в междоусобной борьбе окончательно потерял царство и кочевал со своей по-азиатски густой, гуще войска, родней по дальним стойбищам, изредка объезжая данников и делая привычные для него тайные и опасные вылазки. По Оби, Иртышу и Тоболу наступило двоевластие, как бы даже не трехвластие. В Тюмени стоял воевода В. Сукин, в Искере — Сеид-хан, по степям рыскал Карача. Поэтому когда Карача вместе с Сеид-ханом в сопровождении 500 воинов (опять пятьсот!) появились вблизи Тобольска на Княжьем лугу и принялись забавляться соколиной охотой, письменный голова Данила Чулков имел все основания усомниться, что тут и место для соколиной охоты. «О спорт! — ты мир!» — четыреста лет назад этого завета еще не знали и под видом спорта вполне могли явиться с войной. Бог в таких случаях благоразумно отступает, а дьявол надоумил Чулкова перехитрить татар. Внешне отношения были сносные, до этого дня письменный голова старался обходиться без стычек. Он снарядил на Княжий луг послов с приглашением прибыть высоких гостей на мирные переговоры. Те, как казалось им, обезопасив себя стражей в сто отборных воинов, согласились. Остальные встали под стены. Гостям предложено было считаться с обычаями хозяев и за стол идти без оружия. То ли невеликость народа внутри острога, то ли простодушные лица и ласковые речи, то ли самонадеянность, что нет такого молодца, чтобы превзойти восточного хитреца, усыпило бдительность татарских военачальников, но и сами они сняли оружие и сопровождавшим их ордынцам повелели снять. Должно быть, запоздало екнуло у Карачи сердце, когда увидел он за столом своего старого недруга, атамана Мещеряка из отряда Ермака, с которым не могло быть у него мира. Но и к Мещеряку, в свою очередь, должно было явиться предчувствие, начавшее отсчитывать последние часы. Старые герои — ветераны одновременно с той и другой стороны — сходили со сцены, и без того заглянув без Ермака в чужое действие, в роль вступали новые действующие лица.

Кульминация этой захватывающей истории просматривается слишком русской, не потерявшей своего обычая и сегодня. Наливалась чара — и хану. Тот пить не может, у него на шее ислам, запрещающий пить, заставляющий отводить чару. Наливается Караче, но и тот отводит. Слова, которые воспоследовали за сим, нам знакомы: «А, так вы брезгуете — стало быть, на уме у вас измена! (Сейчас бы сказали: «Ты меня, значит, не уважаешь!») А ну, вяжи их, ребята!» Ребята набросились и связали, а потом разделались со стражей. Но за крепостными воротами оставалось еще четыреста ордынцев. В схватке с ними, как вспоминали впоследствии очевидцы, и сложил свою голову последний товарищ Ермака, храбрый атаман Мещеряк. А Карачу с Сеид-ханом отправили в Москву и там, как водилось тогда, как было со многими плененными сыновьями, племянниками и женами Кучума, наградили поместьями и службой.

Каждому свое: победителям — смерть, побежденным — почести.

Как ни дурно поступил Чулков, обратившись к обману, но добыл он им мир, Искер татары снова оставили, теперь уже навсегда, двоевластие прекратилось, закаменная страна окончательно отошла к русским. В пору, когда в России все ближе придвигалось Смутное время, в Сибири смуты все больше затухали, дальше на восток столь организованной силы, как у Кучума и его наследников, больше не существовало.

Вот когда впервые должна была по-настоящему оценить Россия не одну лишь экономическую, но и политическую выгоду приобретения Сибири — в Смутное время. Сибирь постепенно, но незаменно входила новой мощью в весь государственный организм. Польское войско надвигалось на Москву, а сибирские казаки вышли к Енисею. Собирая ополчение, князь Пожарский пишет о своих намерениях сибирским воеводам, а осуществив их, великие намерения свои, и освободив Москву, к ним же обращается с торжественным посланием, там, за Уралом, видя для отечества бесшаткую опору.

«Сибирским воеводам» — это в Тобольск, который очень скоро, уже через семь лет после своего первого колышка, выходит из подчинения Тюмени и становится главным городом Сибири. В 1596 году ему вручается печать всего сибирского царства, которое прирастает с небывалой быстротой. Управляется оно воеводой и его товарищем, один ведет военную власть, другой гражданскую, в действительности же им приходится колотиться за все вместе, с прибавлением царства прибавляются и воеводские обязанности. Оборона выстроенных острогов и строительство новых, разведание старых путей и новых землиц, снабжение, вооружение, ясак и десятинная пашня, призыв и расселение крестьян, набор, в том числе и среди татар, в казаки, спрос на христианских девиц в женки служилым, то высочайшее требование вылавливать и возвращать в российские отчины беглецов, то закон по прошествии шести лет от побега не взыскивать с них; торговля и пошлина, отношения с инородцами внутри царства и отношения с соседями за царством, поощрения и наказания, храмы и питейные дома, фискальство и свары — чем только не приходилось заниматься первым сибирским воеводам, о чем только не болела у них голова, которая по суровости тех времен ни у кого не сидела прочно на шее. Надобно же и нам вслед за П. Небольсиным помянуть их добрым словом. Небольсин писал:

«Припоминая себе житье-бытье наших первых воевод в Сибири, мы очень жалеем, что не можем представить читателям описания великолепных дворцов, торжественных въездов, вкусных пиров, романтических происшествий, роскошной природы, которыми бы наслаждались русские головы в нашей Сибири по примеру испанских генералов в Сибири американской. И летописцы наши скупы были на эти описания, да и сама Сибирь мало представляла лакомых сторон в этом отношении… Житье-бытье наших воевод было плохое, удел их был — и вечный труд, и вечная забота, и вечные лишения».

История к сибирской администрации не всегда была справедлива. Послушать ее — вор на воре, плут на плуте сидел и самодуром погонял. Хватало с избытком и этого, на то она и Сибирь, чтобы, как богатую и простоватую тетку во все времена, пока не поумнеет, обирать ее под видом благодетельства, но — не всем же без разбора подряд.

И в те времена существовали понятия о чести и долге. И если полностью нравственность о всех праведных струнах еще не отрыта была из сибирских снегов и не явлена в полный вид из полунощных сумерек, то главными своими выступами, явившимися вместе с рождением первого человека, она должна была требовательно взыскивать и помимо писаных законов и, бессомненно, взыскивала. Это — если смотреть на нравы как на местное достояние, слепленное из местных материалов, а ведь по большей части они прибывали тогда из Москвы и показывали, чем руководилась в морали первопрестольная.

Глухо и невнятно, но и в истории можно разобрать имена воевод и губернаторов, чьей деятельности изначально обязана Сибирь организацией жизни и власти. Боярин Сулешев, князья Черкасские — это из воевод, большая часть из которых осталась в безвестности лишь потому, что слава любит питаться преступлениями, а не благодеяниями. Из губернаторов — Соймонов, Сперанский, Муравьев-Амурский, Деспот-Зенович, Чичерин, прибавим к ним и казненного за лихоимство князя Гагарина, имевшего перед Сибирью и Тобольском немалые заслуги, перечеркнутые потом, к несчастью, позорной смертью. Если же попытаться сравнить прежних владетельных «племянников», прибывавших для управления «теткиной экономией», с нынешними, придется с огорчением признать, что в старые безнравственные времена они лихоимствовали для себя и увезти с собой много не могли, тем более что существовало правило при выезде из Сибири досматривать воеводские обозы; нынешние же для себя, за малыми исключениями, не берут, но для других ничего не пожалеют, и чем больше отдадут на разграбление и поругание, тем выше в своем дальнейшем продвижении вознесутся. Тайная взятка превратилась в Сибири в открытое и разгульное разбазаривание природных богатств, которое вороватым воеводам и не снилось. Что для нравственности предпочтительней, судите сами.

Но до этого еще далеко, вернемся к только что явившемуся на свет божий Тобольску. Явился он в казацком зипуне, а оказалось — стольной крови, что называется, из грязи да в великие князи. Званию этому приходилось соответствовать не одной лишь царской печатью, следовало иметь и подобающий сану вид. Взобравшись на Троицкую гору, письменный голова Чулков не мог выбрать места, более подходящего для сибирской столицы. Но, сев на нем, Тобольск долго ерзал, вертелся на той горе, никак не получалось у него устроиться на ней раз и навсегда удобно и величественно и за первое столетие еще до камня только в дереве перестраивался шесть раз. Трижды этому способствовали пожары. Рубленый Чулковым острог продержался всего семь лет и показался воеводам Щербатову и Волконскому ненадежным, они сняли его и перестроили на свой лад. Воеводы тогда менялись через каждые два-три года, и при отъезде их Тобольск опять пошел под новый топор, а в 1606 году перекочевал на «другой бугор», на западную оконечность мыса. В последний раз рублен он был в 1679 году и простоял… год: жестокий огонь слизнул его вместе с храмами и 500 обывательскими домами. Только после этого кремль принялся возводиться в том виде, который частью сохранился до сегодня. Сибирский митрополит Павел обратился к царствовавшему тогда Федору Алексеевичу с поклоном о позволении каменного строительства и получил разрешение. Строили тогда не только прочней и красивей, но и быстрей. В 1686-м отстроен соборный Софийский храм, в 1690-м — Богородская церковь, в 1691-м — Знаменский монастырь, в том же году Троицкая церковь, вскоре Софийский двор обнесли оградой в две сажени высотой с шестью башнями и святыми воротами, поставили двухэтажный (не сохранившийся) архиерейский дом. И это при том, что по царскому повелению мастеровых следовало искать на месте, а пашенных крестьян привлекать «без отягощения их и без помехи в десятинной пашне». Правда, по настоянию Павла нескольких опытных мастеров-уставщиков из Москвы прислали, но на том кадровая подмога и кончилась, все остальное приходилось изыскивать в собственных вотчинах — находить, учить, добывать материалы и подспорье, потакать каждому, кто обнаруживал чутье к точности и красоте.

Началось с духа и воспоследовало уже при Петре Алексеевиче сооружениями власти и торга. Еще до князя Гагарина выстроены были в кремле Приказная палата и Гостиный двор, последний — в виде крепости с башнями по углам. Но это уже произведения и эпоха в кремлевском зодчестве сына боярского из местных Семена Ремезова, больше известного своими сибирскими «чертежными книгами», по которым мы судим о сибирской старине. О Ремезове, историке, писателе, архитекторе, художнике и географе, надо рассказывать отдельно, но при одном лишь воспоминании об этом имени невольно вырывается вздох, относящийся к отношению потомков к нашим великим предкам — первопроходцам, расчинателям городов, искусств и ремесел. Ремезов умер в нищете, могила его потеряна; Тобольск, имеющий мало что одну из главных улиц с именем Розы Люксембург, да еще и переулок, до недавнего времени не мог отыскать для Ремезова угла. Ни в Иркутске, ни в Тобольске, ни во многих других городах не отыщете вы упоминания об их основателях, забыты просветители, реформаторы и благодетели. Вся Европа — что Европа! — весь мир знает Страленберга, пленного шведского капитана, отбывавшего ссылку в Тобольске, составившего карту Сибири и по возвращении на родину написавшего о России книгу. А теперь представьте: что если бы Ремезов, оказавшись по счастью или несчастью в Швеции, привез оттуда карту этой страны, как расчертил он до последней землицы всю Сибирь, — кто-нибудь теперь поставил бы ему это в заслугу?! Коли и перед собственным отечеством заслуги занесены толстым слоем забытья и бескультурья! Мы за то, чтобы Тобольск помнил и даже в материальных росчерках памяти помечал имена и капитана Страленберга, и серба Юрия Крижанича, трудившегося в этом городе над своей славянской унией, и немца Миллера, первого автора сибирской истории, и других знаменитых иноземцев, если сыщутся они, но прежде всего ни буквы не потерял из имен и деяний своих великих земляков, будь то доморощенный поэт или зодчий, доморощенный декабрист или ямщик, составлявший летопись. К сожалению, собственное происхождение у нас все еще служит препятствием для гордости, а не наоборот.

Но мы отвлеклись. Тобольск — не Москва, не Киев, не Новгород, но столько в нем достопамятного, яркого, так много в его истории скрыто имен и событий, что, потянув за одну нить, как по одной улице пройдешь, оставив в стороне соседние, к которым волей-неволей приходится возвращаться, чтобы составить хоть в урывках общую картину. И кремль строился не сразу вместе с верхним городом, и город нижний, и столичность, породистость появились не одним махом, и громкость, слава, именитость прирастали не одним десятилетием и столетием, да и затухать впоследствии стали не общим своротом. Поэтому, как бы ни пытались, не удастся нам следовать тобольской хронологии. Граф Сперанский, отправляя историку П. Словцову, жившему в Тобольске, в подарок часы и Библию, надписал: «Вот тебе время и вечность». Отличить время Тобольска от его вечности не так уж и просто, для этого пришлось бы выбирать точку с места его окончательной судьбы, а язык не поворачивается, несмотря на незавидность и убогость теперешнего положения Тобольска, произнести приговор, что вся вечность его осталась в прошлом.

Из вечности, в которой можно не сомневаться, чуть упомянуто у нас об угличском колоколе, первом и необыкновенном изгнаннике, указавшем дорогу не самому лучшему назначению Сибири, — великой ссылке и каторге, продолжавшихся более трех столетий, а потом и еще… Сотни, тысячи и до миллионов прошло печальным и набитым путем отвержения в темные глубины Зауралья, навсегда ославив Сибирь в безрадостный и подневольный край, не способный дать ни приюта, ни утешения. Долгое время все они следовали через Тобольск или оставались в Тобольске. Если есть у него бескорыстная память, не зависящая от принятой буквы признания или непризнания, многих и многих российских великомучеников должен он поминать в своем молчаливом синодике.

И Киприан, первый архиепископ тобольский и сибирский, первый просветитель и памятователь, еще не возглавил у нас епархию, хотя и открыта она в 1620 году под его начальственность. После Смуты церковная и державная власть, как никогда ни до, ни после не бывало, сошлись в одном доме Романовых, которые хорошо понимали значение Сибири для России. Не случайно патриарх Филарет, отец первого царя новой династии, посылает в Тобольск близко-доверенное лицо, вручив ему от себя жезл и от царя золоченый именной крест с надписью: «Царствующий град Сибирь», а потом постоянно не оставляет вниманием. Через сто пятьдесят с лишним лет Екатерина II поднесет восточному «царствующему граду» и вовсе отменный знак державного благоволения — свой императорский трон, очевидно, после смены мебели. Но до этого еще надо дожить.

Самый первый дар сделал Борис Годунов. Об именном кресте на грудь Киприану и императорском троне теперь мало кто помнит, а об угличском колоколе, возвестившем убийство царевича Дмитрия и отосланном в наказание с оторванным «ухом» в Тобольск, должно быть, знают все, в ком окончательно не отмерло отеческое сознание. Доставлен он был на указанное Годуновым место назначения в 1593 году, а угличские граждане, возмутившиеся от его звона, во множестве, кто с отрезанным языком, кто с рваными ноздрями, повлечены в только что поставленный вслед за Тобольском Пелым. Воевода Лобанов-Ростовский, принявший движимого угличского ссыльного, надо думать, немало озадачился, что с ним делать, а потом решил, что и с отсеченным «ухом» может тот справлять службу, и приказал поднять его на выстроенную вновь церковь Спаса. И триста лет этот угличский бунтарь приставлен был издавать самый что ни на есть низменный звон, то объявляя начало торга, то отбивая часы на Софийской колокольне, что сравнимо с тем, как если бы с князя сорвать соболью шубу, натянуть на него овчину и заставить сторожить купеческие лавки. В юбилейный год прошлого века колокол испрошен был обратно на родину — и тоболяки вернули, но, до того как вернуть, отлили точную его копию и выстроили в кремле часовню, в которой он находится и поныне.

Угличскому колоколу рвали «ухо», угличским гражданам, заселенцам Пелыма, языки, а Федору Ивановичу Соймонову, сподвижнику Петра по морской службе и будущему тобольскому губернатору, рвали ноздри. А мы еще спрашиваем нравственность с Сибири, куда вместе с казаками и в путь за казаками кинулась самая разбитная вольноохочая публика, не признававшая ни бога и ни дьявола, а потом и без охочести вслед за знатными фамилиями, уничтожавшими одна другую в крутых поворотах власти, погнали со всей России отпетые головушки.

Сибирской нравственностью обеспокоился, утверждая правую веру, тобольский архиепископ Киприан, носивший фамилию Староруссенский — родиной его была Старая Русса на Новгородчине, облюбованная потом для трудов Ф. М. Достоевским. На службу в Сибирь, в том числе и пастырскую, определялись порой личности настолько яркие и биографические, что, не заглянув в предварительную жизнь, ограничившись лишь коротким сибирским периодом, значило бы сказать о них слишком мало или не сказать ничего. Попробуйте, назвав в роли сибирского губернатора Соймонова, не приостановиться со вздохом и удивлением над его судьбой, если ни один из российских историков не миновал ее — так она крута и удивительна (и уважительна), имея к тому же, что случалось редко, счастливое окончание. Одной из таких выдающихся фигур был и архиепископ Киприан. Лежал на нем перед Россией грех: в Смуту новгородские власти, выбирая из двух зол меньшее, чтобы не присягать Владиславу, решились призвать на престол шведского королевича Филиппа и отправили с этой миссией за новым варягом архимандрита Киприана. Шведы от престола не отказывались, но требовали отторжения от России Великого Новгорода. Едва ли у тайного посланника были полномочия решать судьбу этого вольного во все времена города, но и самой мысли отторжения его от России он воспротивился. Его пытали, требуя каких-то секретов, морили голодом, держали раздетым на морозе, но добиться ничего не могли. С воцарением Романовых Киприана отпустили восвояси, он явился к царю и пал на колени, испрашивая прощения не себе, а Новгороду, был вместе со своим городом прощен, замечен и приближен.

И вот не прошло и семи лет, из огня да в полымя, из Швеции в Сибирь. После Новгорода, где закон издавна имел силу, Киприан встретил в Тобольске, как показалось ему, крайнее развращение нравов. Казаки пьянствовали, картежничали (игра в кости занесена была ссыльными литовцами), не соблюдали постов, держали женок в каждом месте приклонения службы, покупали их и продавали, как с огородов разносол. Не успел Киприан оглядеться и ужаснуться — взыск от Филарета: «ведомо учинилось нам…» Ведомо учинилось святейшему, что в женки берут девиц не только без креста в душе, но и на шее, не считаясь с первой христианской нормой. Приходилось, поелику возможно, со всей строгостью выправлять принятые в нравах заведения.

Киприан вошел в сибирскую страницу, кроме этого, как расчинатель ее порусской письменной истории. Почти сорок лет минуло от Ермака, доживали по сибирским острогам последние его сотоварищи, а никому и в голову не приходило записать их воспоминания и составить список участников похода. Это было сделано стараниями Киприана в 1622 году, так появился синодик по погибшим казакам, и с той поры ежегодно Ермаку и его соратникам, каждому отдельно, «кликом» воздавалась слава и память. Сто лет назад кяхтинский купец Немчинов отписал Софийскому собору в Тобольске несколько тысяч, с процентов которых панихида по Ермаку справлялась бы на все времена дважды в году, не подозревая, что «все времена» будут иметь близкий конец.

Киприан остался в памяти как натакатель синодика, и полностью забыты его усилия по добродетельному выправлению сибиряков. А это было трудней, чем опросить казаков. Это было трудней, чем взять Сибирь, эта Сибирь, если верить старым и новым писателям, от французского аббата Шаппа в 18-м веке до Анатолия Рыбакова в веке 20-м, так никогда и не была взята. Остается добавить со своей стороны, что если это так, то она, Сибирь, давно распростерла свою могучую длань на всю страну, поскольку нравы ныне в Москве ничуть не лучше, а по нашим наблюдениям хуже, чем в малопросвещенных по части новейших развлечений Красноярске или Якутске, перед коими, перед развлечениями этими, грехи тобольских казаков представляются хоть и грубой, в духе того времени, но невинной забавой. Как не вспомнить в этой связи, что еще в нашем веке в Сибирь отправлялись не только сыновья Арбата в тридцатых, но и дочери Арбата вплоть до восьмидесятых — в последний раз, чтобы не портить целомудренный дух гостей Олимпиады. И не возмутительно ли после этого читать, какая распущенность встречала благонравных детей Арбата в низовьях Ангары среди потомков Ермака и Кучума! Уроженец тех мест, я свидетельствую, что какие угодно грехи можно приписывать моим землякам, хоть и невежество, доходившее до утверждений, что восстание Пугачева не обошлось без большевиков, но только не то, что со смаком рисует в них Анатолий Рыбаков. Из лести ли притравленному читателю рисует, которому желается чего-нибудь этакого, или из мести к местам невольничьих поселений, которые виноваты в этом столько же, сколько кобыла, попукивающая от непосильной натяги, виновата в наваленном на нее негуманном грузе.

Кстати привести тут замечание Словцова: «…издавна клевещут на него (сибиряка. — В. Р.) в России различным образом, и даже возводят на него чернокнижное искусство вызывать нечистых духов, подобно как и ныне поверхностные наблюдатели, за исключением благоразумного лейтенанта Врангеля и его спутников, называют рассудительного, хозяйственного, добронравного сибиряка невежею, ленивцем, развратником. Оставляя без примечания все три присвоения, как приличные для сволочи русских поселенцев, мы не могли бы без негодования слышать те же нарекания, если бы кто вздумал относить их к коренному классу сибиряков».

Но не станем преувеличивать и добродетельность Сибири, пусть каждой стороне и каждому времени достанутся собственные грехи. «Сам дурак!» — не логика, а ругань. Бессомненно, архиепископу Киприану было чем возмущаться и что выправлять в местном жителе. Неизвестно, добился ли он за три своих сибирских года каких-нибудь заметных результатов, должно быть, разнобогие семьи поуменьшились, а все остальное ушло с глаз в темноту. Но он оставил после себя сильную, хорошо подготовленную и убежденную кафедру, призывающую многоликое сибирское население в лоно одной веры и морали. По крайней мере, через сто лет пришлось Синоду сочинять воззвание к православным, прежде всего к тобольским женщинам, которые не решались заводить семьи с пленными шведами. Считалось, что не решались, а после воззвания выяснилось, что не хотели, так воспитаны. Что это — издержки воспитания? Или опять невежество? Попробуем сравнить с сегодняшней просвещенной страстью совлечься с любой масти иноземцем, чтобы убежать из отчих пределов, и пораскинем, что лучше.

И все же многие картины быта и справления власти покажутся сейчас и дикими, и странными, и непонятными.

Участник сибирской академической экспедиции 1733-1743 гг. натуралист И.-О. Гмелин в своей книге, так и не переведенной в России с немецкого (выдержки из нее взяты из «Истории русской этнографии» А. Н. Пыпина), описывает обычай, о котором прежде не приходилось слышать. Будто всех скончавшихся или не собственной смертью, или без причастия свозили в Тобольске за город в сарай и хоронили скопом раз в году, в четверг перед Троицей. Гмелин показал себя не только серьезным ученым, но и серьезным наблюдателем нравов, это не аббат Шапп, наблюдавший в 1761 году в Тобольске затмение Венеры и в своих позднейших впечатлениях все на российской земле перепутавший и осмеявший. Гмелину приходится верить. Он же в Тобольске и Иркутске становится свидетелем беспробудного пьянства, но это-то нам не в диковинку. «Право, кажется, что такие праздники посвящены больше дьяволу, чем богу, и это зрелище вовсе не служит хорошим примером для многочисленных язычников этого края, так как они видят, что высшее благо сибиряков состоит в пьянстве».

При тобольском губернаторе Гагарине обнаружен был в Соликамске (Сибирская губерния в то время заходила за западные отроги Урала) виновник нарочитого пожара, некий Егор Лаптев. Дабы проучить поджигателя раз и навсегда, его закопали живым в землю.

В архивных рапортах о наказаниях едва ли не самая убедительная мера — бить «морскими кошками». Били и девиц, и женок, и служилых, и посадских. Разъяснений, что это такое — «морские кошки» и почему они так действовали на чувствительность тоболяков, документы не дают. Наставляли, правда, из разнообразия еще и батожьем, и плетьми, и палками. Императрица Елизавета отменила смертную казнь, а Екатерина Великая повелела о каждом случае телесных наказаний доносить в губернскую канцелярию — да кто в Сибири стал бы брать на себя такие пустяки?!

За бороду и русское (требовалось немецкое) платье в Тобольске наказывали и аховыми штрафами и битьем спустя десятилетия после Петра.

По распоряжению полицмейстера губернской канцелярии в 1750 году трупы двух умерших по дороге в Сибирь раскольниц, коих следовало по тогдашним правилам предать земле без христианского обряда, проволокли на веревках по всему Тобольску и скинули за городом в ров. Надо ли удивляться после этого поступающим отовсюду в Сибири на протяжении ста с лишним лет сведениям о массовых самосожжениях староверов. «В 1679 году собралось обоего пола с детьми до 2700 душ из разных мест Сибири на Березовке при Тоболе и сделали из себя всесожжение». В 1687 году в Каменке под Тюменью в храме сожгли себя около 400 душ, в 1722 году близ слободы Каркиной на Ишиме — неизвестное, но огромное число душ, в 1724 году за Пышмою — 145 душ… И так далее. И так до конца 18-го, а кое-где и с заходом в 19-е столетие.

Раскол — трагедия народа, о нем особый разговор. Что же касается тобольских нравов, от которых сегодня содрогаешься, то добро бы они водились в таком виде только в Сибири. Нет, и вся Россия избытовствовала ими, оттуда они и приносились в Сибирь.

Монтескье писал, что, для того чтобы привести русского в чувство, его нужно отодрать. Оставим эти слова на совести французского философа, тем более что в России он не бывал и судил о ней понаслышке, на его родине и в его время тоже при желании можно отыскать сколько угодно примеров варварства. Только надо ли считаться, не лучше ли внимательней присмотреться к обидному замечанию великого француза и поискать в нем здравый смысл? На протяжении почти всей истории, за малыми и недолгими исключениями, образование в России было делом третьестепенным, законы тяжелы и несправедливы, нравы искажались необходимостью скрытого противодействия законам, имперский панцирь отягощал народ, который постоянно жил на пределе физических и моральных сил; друг друга не продолжающие, а исключающие, переворачивающие державные правления подрывали веру в благословенность государственного организма и заставляли строить крепость в себе. Отданная ближнему последняя рубашка, вероятно, способствовала нравственности, но, когда примечал россиянин, что ближних становится все больше и больше и порывы его принимаются как обязанность, между тем как рубашка у него все так же одна, он снимал ее без вдохновения и с прищуром слушал вывернутые наизнанку заповеди. У образованных людей рождалось убеждение, что Россия принесена самой ее судьбой в жертву, а чему в жертву — они не умели внятно доказать. Благословляющий Россию «в рабском виде царь небесный» долго оставался и символом ее, и утешением, и надеждой, пока просветители не отняли у нее и этот образ. И невесть сколько стоит Россия нараскоряку меж своим и чужим, то на одну ногу делая упор, то на другую, шарахаясь из крайности в крайность, словно не подозревая, что можно и на обе ноги стать, коли их отросло две, но не забывая при том, что правая, несущая — под свой груз, иначе теряется весь замысел о народе и национальности.

\* \* \*

Но пора подняться и на поверхность сегодняшнего Тобольска. Только что справил он четыре столетия от своего основания. Справил торжественно, с соблюдением полного юбилейного церемониала, с приглашением гостей, сыновей и дочерей своих, коими можно гордиться, с воздаянием памяти прошлому и аллилуйей настоящему. Город разросся, прибавил в промышленности, в числе жителей, перешедшем за сто тысяч, и в цифре жилплощади. В юбилей все идет в строку, хотя в век демографического взрыва трудно избежать заслуги в приселении, это все равно что взрослому дяде хвалиться килограммами своего веса.

Еще в прошлый юбилей сто лет назад Тобольску пришлось с излишней старательностью начищать свой служебный мундир отставного героя. В 1839 году губернаторство у Тобольска отняли, переведя его в Омск, трактовый путь прошел южнее — и осталась сибирская столица на выселках. Но Сибирь сто лет назад сделала все, чтобы Тобольск не заметил своей обделенности. Депутации процветающих тогда городов из Кяхты, Иркутска, Красноярска, Омска и Томска прибыли и с богатыми дарами и с искренним поклонением первосоздателю Сибири. Печать всего огромного края воздала должное своему старому славному граду, в его честь устраивались собрания, чтения, денежные сборы, выпускались книги, назывались улицы. Сибирь сто лет назад была цельнее, теснее и родственней — и намного, чем теперь, когда, благодаря скоростям, сократились расстояния. Еще одно тому свидетельство — открытие Томского университета, на которое, как на общий праздник и общую победу, с великодушием отозвалось все Зауралье.

Нынешнего юбилея Тобольска Сибирь, можно сказать, даже и не заметила. Как перед тем не заметила круглых дат Тюмени, Иркутска, Томска. Не до того: нефть, уголь, ГЭС, лес, металл… Сибирью распоряжается не местная администрация, а ведомства из Москвы, у которых история, культура, патриотическое сознание в планах не значатся. 400-летие Тобольска не вышло за событие местного значения, а в местном значении (это участь не одного Тобольска) — до чего же не вовремя все эти Чулковы, Поярковы, Сукины и прочие дети боярские и письменные головы затевали строительство своих острогов, без них дел невпроворот, нет, надо отвлекаться на пустяки, на дату, организовывать, проводить, пробивать…

Повсюду это от Урала до океана: Сибири не до Сибири… Не до старого Тобольска, не до остатков Кузнецкой крепости, сдавленной промышленным Новокузнецком так, что из камня сочатся слезы, не до Енисейска, не до Кяхты, не до Селенгинска, не до реликтовых рощ, не до археологических погребений, не до заповедности и единственности. И уж на свой манер слышат полновластные хозяева нашего края звучание Сибири — себе бери, себе бери, се-бери… вывози, выноси, не зевай, пока не поспели другие.

У Тобольска, по-прежнему расположенного двумя частями — верхним городом и нижним, сразу за гордостью от восстановленного своего белокаменного кремля, на те же тридцать саженей, на которые возвышается Троицкий холм, должно опадать сердце при взгляде на нижний город. Там с нарушением старой и простой дренажной системы, происшедшим от небывалого уровня нынешней технической грамотности, поднялись грунтовые воды, все лето улицы стоят в болоте, затянутом зеленой ряской, деревянные дома подгнивают и утыкаются в грязь, не избежал этой участи и дом П. П. Ершова, автора «Конька-Горбунка», витающие над посадом запахи заставляют задуматься над происхождением замысловатого слова «благовоние».

Я был в Тобольске в мае, на июнь назначались торжества. Потом их пришлось перенести. Тура, Тобол, Иртыш, Обь — все в ту весну 1987 года переплескивало воду через берега, все топило свои города и селения. Наш автобус двигался из Тюмени по Тобольскому тракту как по ленточной насыпи, с обеих сторон далеко вокруг стояло половодье, которое все прибывало и прибывало. В Тобольске отсыпка у Иртыша шла круглые сутки, 20 мая уровень воды превысил восемь с половиной метров. Молодой председатель горисполкома Аркадий Григорьевич Елфимов, за полгода до того пришедший на этот пост из строителей, спал урывками, мобилизовал у предприятий на отсыпку весь годный для этого транспорт, сновал между телефоном, берегом и карьерами беспрерывно, делая все возможное, чтобы отстоять нижний город, но не раз, должно быть, являлась ему тайная, вперекор делу, мысль: а пусть бы к черту-дьяволу снесло все это раз и навсегда, тогда бы, глядишь, на стихийное бедствие раскошелились. Запущенность дошла до такого состояния (никто не считает эту отметку), что легче и дешевле, вероятно, строить заново, чем латать и перелатывать.

Но не пустили воду, спасли еще от одного наводнения нижний город, и пришлось городскому голове с той же поспешностью, с какой ограждались от Иртыша, ограждаться от старых построек новыми потемкинскихми заборами, чтобы не смущать юбилейный взор непотребством. Все, буквально все нуждается в ремонте и восстановлении, а денег хватило только на заборы, и до нового юбилея теперь далековато.

Тобольск возрос в последнее время с открытием тюменской нефти, с проведением железной дороги и строительством под боком нефтехимического комбината. Комбинат в верхней части города поставил для себя новые кварталы, похожие, разумеется, на все соцгородки в стране, провел от них, от своих кварталов, многокилометровую магистраль к цехам, назвал ее именем Д. И. Менделеева, уроженца Тобольска, поставил ему свой памятник, как бы отняв великого ученого у старого города, и стоит теперь независимо и гордо: вот я каков, молодец! У меня сила, власть, молодость, деньги, со мной не поспоришь! Но и комбинат начинает жаловаться, что прижимает его министерство, не выполняет своих обещаний. Кто сам небрежен, небрежения и заслуживает. Великие прибыли качая из тюменской земли, в которую входит и Тобольск, крохотной доли нефтяные и газовые магнаты не выделят на поддержание тощего культурно-исторического живота этой земли.

И в колониях принято выделять… Чем Сибирь хуже колоний?!

Тут кстати опять вспомнить старого сибиряка. Разбогатев на мягкой рухляди и золоте, торговлей и рудниками до того, что тесной для жизни становилась родная сторонушка, перебравшись домом в Москву или Петербург, он умел не потерять чувства долга и вины перед местом своего рождения и обогащения. И платил всякий раз, когда требовалась поддержка в культурном и духовном строительстве, в попечительстве наукам и ремеслам, дабы не осталась Сибирь навсегда «полунощной страной», дабы не только отряжала она лучшие свои умы и сердца в российское духовно-энергетическое общество, но просвещалась изнутри. Не всяк толстосум был таковым на ум, а и немало их было, кто способствовал картинным галереям, библиотекам и училищам, давал деньги для научных и технических обществ.

А теперь попробуем сравнить их с нынешними выходцами из Сибири, с теми же всесильными министрами, которые воспитанием или возвышением обязаны нашему краю. И что же — чем благодетельствуется от них Сибирь? Не до благодетельства. Не до жиру — быть бы живу. Словно мстят они ей за свое происхождение, соревнуясь друг с другом, кто больше возьмет и меньше даст, чья промышленность быстрей превратит ее в отработанные отвалы. А если и вынуждены по малости что-то давать на так называемые социальные нужды, — не во благо Сибири, а только в ведомственное благо, чтобы было где переночевать и чем развлечься, перед тем как снова рубать уголек и качать нефть. Если бы можно было в шахтах и на буровых, на лесосеках и комбинатах обойтись хотя бы вполовину роботами, которые на ночь бесхлопотно отставляются к стенке и не подвержены профессиональным заболеваниям, чтоб не строить ни квартир, ни профилакториев, — без раздумий пошли бы на выгодную реконструкцию сибиряка. Он и сейчас обходится столь малым, давая многое, что недалеко ему и до робота.

Нет, виноваты, виноваты господа Сибиряковы, Лушниковы, Демидовы и Трапезниковы, плохо они просвещали Сибирь, недостаточно патриотствовали, мало успели — вот и результат, что товарищам Щадову, Щербине, Бусыгину и другим нет дела до Сибири как места обитания и обетования, а дело — до угля, нефти и леса. Конечно, товарищи министры и надминистры могут возразить на это, что у господ Сибиряковых был собственный карман, а у них — государственный, в котором не должно быть ни родительства, ни приятельства. Но тут уж вместе с патриотическим чувством сдает и политическая логика. А что — Сибирь уже и не государство? Почему, влезая в ее закрома, вы действуете от имени государства, а как доходит до платежей — от своего собственного? Где и кто он, справедливый посредник между брать и возмещать, в каком государстве его искать?

И верно, не успели, не преуспели господа Сибиряковы в просвещении сибиряка.

Рискуя увести читателя и совсем далеко от Тобольска, я тем не менее хочу вспомнить Сундсваль, промышленный город на севере Швеции. Не ради сравнения с сибирскими промышленными городами, это вещи разного порядка, которые для сравнения не годятся. Искать сходство между Сундсвалем и, предположим, Братском на том основании, что тот и другой рабочие города, все равно что искать его между куском антрацита и самородком золота — ничего, кроме каменного происхождения, общего, все будет одно отличие.

В Сундсвале три целлюлозных комбината, деревообрабатывающий завод, механический завод, поставлявший, кстати, оборудование для Братского лесопромышленного комплекса, алюминиевый и химический заводы. А население — сто тысяч. Ни комбинатов, ни заводов не видно, они кормят город, но не властвуют в нем, как у нас, не выставляют с гордостью свои корпуса и трубы. B прошлом Сундсваль успешно торговал и любил украшать себя архитектурой, сегодняшняя современность в городской застройке на удивление уважительна и церемонна к старине, как и вообще в этой стране отношение к старикам возведено в ранг государственной добродетели. Им дается столько льгот и они настолько окружены в обществе атмосферой благоприятствования, что молодые всерьез мечтают стать пенсионерами. Нечто подобное, мне показалось, происходит и в городской архитектуре: до тех пор, пока новое здание не перестанет быть новым, как бы ни было оно исполнено и какие бы чувства оно ни вызывало, оно проходит что-то вроде испытательного срока, кончающегося, быть может, лишь с первым ремонтом.

Мы путешествовали по Швеции вместе с моим давним знакомым, журналистом и переводчиком Малькольмом Дикселиусом, который несколько лет проработал в Москве и не однажды бывал в Сибири. Сундсваль — его родной город, здесь живут родители Малькольма. Поэтому, обсуждая еще в Стокгольме маршрут, первую линию мы провели по восточному побережью к Сундсвалю. А по приезде, зная мои пристрастия, он повел меня сразу в старые торговые ряды, которые переоборудуются в культурный центр. И мы провели там часа три, разговаривая с реставраторами, художниками; кто-то встречался из городских властей, кто-то из жителей, интересующихся работами, к тому времени сюда успела переехать детская библиотека, шли последние приготовления для экспозиции по истории города — я спрашивал, мне подробно разъясняли, и все больше я убеждался в том, что судьба складов занимает весь город.

И вокруг мы обошли — ничего особенного в прежнем своем служебном виде они из себя не представляли. Склады как склады близ причала, с той, разумеется, поправкой, что это не наши склады — абы не мочило да пудовый замок на ворота. Строились они — чтоб не портить городу вида ни с моря, ни с суши, и все же строились не под музей. И когда остались они без дела и пришли в ветхость, ждала их та же участь, что и повсюду. Вернее, должна была ждать. Но для шведов старина имеет совсем другой смысл, чем для нас, они не приводят в качестве доводов ни воспитательное, ни историческое значение, чтобы кого-то ими убедить; старина для них — родительский мир, ничто из которого без последней нужды приговору не подлежит. Сундсвальцы больше всего гордятся не целлюлозными комбинатами, не химическим заводом, а находящейся у них на острове Альнен в храме реликвией 12-го века — деревянной чашей для крещения, купелью. Сгори комбинат — это будет беда для части горожан, которая потеряет работу, но пострадай святыня с острова Альнен — это будет трагедия для всех. После того как купель свозили на выставку в Париж и на ней появились трещины, они появились, без иронии сказано было мне, в сердце каждого сундсвальца.

Решая судьбу торговых складов, город не поскупился и принял самый дорогой проект реставрации, по которому склады соединяются стеклянной галереей и станут единым обновленным зданием. Кроме детской библиотеки и экспозиции по истории города, уже упоминавшихся, в нем разместятся картинная галерея, экспозиция охраны природы, читальный зал, некоторые культурные учреждения. Теперь уже, конечно, все это разместилось, соединилось в единый центр и работает, а затраты в сто миллионов крон остались позади. Надо сказать, что часть их приняло на себя государство, часть — город и часть составилась из пожертвований.

После складов мы с Малькольмом Дикселиусом отправились обедать, рассуждая заодно за столом о роли культуры в судьбах людей и народов. Пусть не тревожится читатель, до меню дело не дойдет, а об обеде я упоминаю потому лишь, что после него наши планы пришлось срочно изменить. Для Дикселиуса не имело большого значения то, о чем он спросил меня, и я благодарен толчку, который заставил его поинтересоваться:

— Вы что-нибудь о капитане Страленберге знаете?

— Не о моем ли «земляке», который отбывал после Полтавы плен в Сибири, в Тобольске?

Малькольм засмеялся:

— Но он и мой земляк. Благодаря Страленбергу и его товарищам по несчастью мы с вами ближе, чем предполагали. А знаете ли вы, что карта Сибири этого капитана находится здесь, в нашем городе?

От неожиданности в таких случаях, как «ой», только и вырывается:

— Не может быть!

Малькольм оставил меня и пошел к телефону. Через две минуты объявил:

— Нас ждут. Не берусь судить о Сибири, а карта Сибири в целости и сохранности.

— А его книга?

— С книгой, наверное, проще, она выходила не в одном экземпляре. А карта вычерчена рукой Страленберга, это большая ценность. Но Страленберг попал в мировые энциклопедии, кажется, не из-за карты и не из-за книги, а потому, что открыл где-то у вас древнюю наскальную живопись.

— «Томские писаницы» на реке Томь неподалеку от нынешнего Кемерова.

— Сохранились они?

— Да. Но в какой сохранности, не знаю, я их не видел. Слышал, что там собираются устраивать заповедник.

Мы проехали за город, оставили справа один из целлюлозных комбинатов, смотревшихся архитектурно не хуже, чем в Иркутске новый музыкальный театр, повернули влево, потом еще повернули и оказались на возвышении перед старинным замком. Не меньшей неожиданностью, чем известие о карте Страленберга в Сундсвале, было место ее нахождения — в архиве Мерло, принадлежащем целлюлозной акционерной компании SCA. Этакая редкость у целлюлозников! — я все меньше понимал эту страну.

Навстречу нам вышел симпатичный невысокий человек средних лет, оказавшийся архивариусом. Архивариусом? Ну да, если есть архив, должен быть и архивариус. Ян Острем, так звали его, провел нас в зал заседаний, где висела на стене карта, снял ее и осторожно расстелил на огромном столе. Мы вместе склонились над нею, отыскивая Тобольск, Иркутск, реку Томь, Байкал и Лену. С тем же чувством, с каким вглядывались бы мы в живые лица наших прямых предков почти за два столетия до нас, рассматривал я полузнакомые наивные очертания. С нее, с этой карты, Сибирь все еще представлялась загадочной и сказочной страной, великой и необмерной. Так хотелось когда-нибудь побывать в ней!

— Помнят в Сибири капитана Страленберга? — должно быть, архивариусу пришлось задать свой вопрос не однажды, я не слышал.

— Помнят. Но его больше знают у нас по имени Табберт, ведь Страленбергом он стал позже, уже по возвращении на родину.

— Да, он взял имя своего родного города. Хотите осмотреть архив?

Я хотел. Но двигался от экспоната к экспонату, от библии Карла XII к древним рукописям, от святыни к святыне с какой-то подавленностью и стыдом: вот вам и технократы! И уже не удивился, когда рассказали мне, как несколько лет назад алюминиевый завод в Сундсвале решил расширить свое производство, но город потребовал от него гарантий, что расширение не повлечет за собой дополнительных загрязнений. Гарантий таких компания дать не могла и отказалась от реконструкции. Наверное, и у нее есть свой архив с культурными ценностями.

Как не согласиться с великими: насколько поднять, настолько и уронить может любую страну ее отношение к культуре.

И вот я стою на Чукманском мысу, куда вынесли ноги в первые же тобольские часы сами собой, не зная, что это и есть самое удачное место для обзора и что отсюда открывается «лучший вид» на Западную Сибирь. «Лучший вид» я ставлю в кавычки лишь потому, что замечено это было давно и как бы утверждено в путеводителях и справочниках в ранге достопримечательности. Видно действительно так далеко и широко, так вольно, красиво и охватно, будто просторная излучина Иртыша подставлена для полета. Ибо что это и есть, когда с радостью и удивлением переносишься без помех все дальше и дальше, как не полет? И извивающийся размашистой и разливистой дугой Иртыш, берущийся от Подчувашей и западающий за Троицкий мыс, — тоже как полет в глубокой зелени неба, полет беспрерывный, могучий и властноспокойный, ибо за что же, как не за небо, и принять эту бескрайность?!

И еще не однажды всходил я и на Чукманский мыс, и на Панин бугор, чтобы полюбоваться и на Западную Сибирь, и на нижний город, и вправо на кремль, и влево на Вершину, уцелевшую чуть ли не в средневековом строе деревянную улицу в овраге вдоль сбегающей в город речки Курдюмки. И она, Вершина, тоже как запань в небе среди облаков, разрисованная облачными же оттаями под пакибытие. Только здесь дано было родиться вопросу, который любят задавать тоболяки: чего у нас больше — воды, зелени, дерева? И ответу: неба.

Не мог, одержав рядом победу над Кучумом в Подчувашах, не подняться Ермак на Чукманский мыс. Не мог, ибо как же и удержаться, чтобы не взглянуть с высоты, что за страна открылась ему, куда она ведет, какой пробуется на глаз. Здесь и поставлен Ермаку еще полтораста лет назад строгий беззатейливый мраморный обелиск с короткой адресной надписью на постаменте: «Покорителю Сибири Ермаку», огражденный тяжелой цепью. За ним в глубь бугра тоже в прошлом веке разбит парк в честь покорителя Сибири, изрядно сейчас запущенный, колонизированный покорителями зелья.

А справа, справа через Никольский взвоз — кремль с Софией, пятиглавие которой вместе с колокольней — как сосцы, сбирающие корм небесный. Весь Софийский двор с восстановленной стеной и башнями, с архиерейским домом и гостиным двором, с храмами и звонницей, откуда на него ни взгляни, сбоку ли, снизу — чудное видение, да и только, счастливый вздох и благодарствие людское за солнце и землю. Людское — и все-таки надо делать усилие, чтобы поверить, что строилось и восстанавливалось все это людскими руками, а не спущено с неба. Принято говорить: застывшая легенда, застывший камень, застывшее прошлое… Но как это застывшее сияет, дышит, живет, как много и чудно глаголет! Дерзко, вольно, красиво, на вечные времена, а не на постояльство, на царствие земное, а не на вахтовый способ жизни распиналась Сибирь… Отсюда обозначалась ее судьба, и тобольским кремлем повелевалось сибирской судьбе быть высокой и славоносной.

Внизу — кружево и разброс старого города. Многажды горевшего, много плававшего, потемневшего, с обрывами и заставками, с узлами и дырами… Позадь него половодье Иртыша, перед ним у холма речка Курдюмка, и среди улиц тут и там проблески воды — будто на плаву он весь из края в край, как загруженный на плоты скарб, ожидающий отплытия. Среди темной старообывательской деревянной застройки богатые купеческие особняки, гимназии, присутствия в камне, верховодье устоявших храмов. И если всмотреться — да нет, не на плаву, на земле стоит, снуют вон машины, ходят люди, но был он оставлен и заселен заново лишь недавно, не успели еще справиться с разором, отвести воду, восстановить житность. И топоры стучат над новыми заборами — обживаются люди, вспоминают, где что было, поправляют картину. Самый ведь «картинный» в Сибири город!..

Половина Тобольска тут, половина истории, половина жизни.

По Никольскому взвозу можно спуститься в нижний посад и неторопливо пройтись по старине. Тут все старина; новоделы — как заплатки на общем полотне, да их и немного. И по-прежнему слобода с ее особым духом, покроем и законами. Жили тут когда-то отдельными общинами татары, поляки, немцы, литовцы, шведы, здесь заводились ремесла, сюда же спустилась из кремля торговля. Не мною подсмотрено, что нельзя, кажется, было отыскать худшего для заселения места — болото, иртышские затопления, грязь, но в этом и характер россиянина: чего нельзя, то и можно. Как было из красоты, из соперничества, из противоречия и поклонения не приникнуть к Троицкому мысу! Страдать от упрямства, от огня, от мокроты, но врастать все сильней и сильней, любить нижний город за мученичество, вольнородность и демократичность. Как снизу при взгляде на кремль красота собирается в одно целое, в верховное организованное начало, так сверху при взгляде на посад она тепло растекается по улицам и дворам, чтоб было опять откуда ей взяться для нового поклона. Если верхний город — крона дерева, нижний — ее корни. Это как две стороны одной медали. Без любого из них другого не станет. И ржавчина на одном съест и другой.

Сибирь, в сравнении с коренной Россией, не столь богата вышедшими из нее великими именами. Принято по старинке говорить «вышедшими». Вышел — чтобы уйти в столицы и там прославиться на своем поприще. Что делать! — Сибири приходится гордиться ссыльными раскольниками, анархистами, декабристами, поляками, а уж потом собственными величинами. Вот и в Тобольске остались могилы декабристов А. М. Муравьева и Ф. Б. Вольфа, переехавших сюда в 1845 году из-под Иркутска, В. К. Кюхельбекера (пушкинского друга Кюхли), А. П. Барятинского, С. М. Семенова, Ф. М. Башмакова, С. Г. Краснокутского. Здесь сохранился дом М. А. Фонвизина. Один лишь сибиряк не по ссылке, а по рождению был среди декабристов. Это тоболяк Г. С. Батеньков. Отсюда же вышел художник В. Перов. А вот поэт П. П. Ершов, автор «Конька-Горбунка», и историк П. А. Словцов, выйдя, тут и остались, еще раньше к ним надо прибавить велеталанного С. У. Ремезова. Представим только: что бы Тобольск был без этих своих сыновей, не покинувших его ни в славе, ни в юдоли? Сколько бы потеряла Сибирь, если бы ушли из нее Г. Н. Потанин, тоже уроженец Тобольска, и Н. М. Ядринцев, а в наше время — археолог А. П. Окладников и другие!

Сразу перед кремлем стоит в нижнем городе длинное приземистое двухэтажное здание, которому по славе нет, пожалуй, равного в Сибири. Сейчас здесь поликлиника, а строилось оно в 18-м столетии купцами Корнильевыми, затем продано было после пожара в кремлевском наместническом дворце под резиденцию наместника, каковым тогда являлся А. В. Алябьев, отец композитора. В нем, этом доме, будущий великий композитор и родился. В начале 19-го века оно было перестроено под губернскую гимназию, в ней учился Батеньков, директорствовал И. П. Менделеев, отец великого химика. Когда Иван Павлович Менделеев служил директором, у него учился Ершов, впоследствии и сам ставший инспектором гимназии, а у него, в свою очередь, проходил курс первоначальных наук четырнадцатый ребенок в семье Менделеевых, открывший затем Периодическую систему элементов. Все в Тобольске, небольшом городе, было тесно сплетено между известными фамилиями. Мать Д. И. Менделеева вышла из рода Корнильевых, тех самых, которые выстроили дом, ставший гимназией, и начинали в нем издательскую деятельность, выпускали первый в Сибири литературный журнал под названием «Иртыш, превращающийся в Ипокрену». Правда, П. А. Словцов оставил о нем нелестный отзыв: «В 1790 и 1791 гг. издавалось периодическое сочинение «Иртыш, превращающийся в Ипокрену». Не Ипокрена ли превращалась в Иртыш? Вместо того чтобы заняться сообщением современных в Сибири происшествий, изложением местных исторических отрывков или описанием торговли, хлебопашества и вообще хозяйственного быта, издатели пустились обезьянничать в словесности и поэзии пошлой».

С самых начал строго в Тобольске спрашивали с искусства. В музее местного театра есть выписка из летописи: «Мая, 8 числа, 1705 г. в день Иоанна Богослова, в Тобольску, во время игрища комедии, возста тучею буря жестокая и сломила под алтарем соборной церкви верх весь с маковицей и крест. Прознаменуя всемогущий господь бог гнев свой на творящих игрища комедианские: в тот же час на взвозе базарном сажени с три горы спозло с места глади».

Спустя два с лишним века «игрища комедианские» не прекратились. Это уже афиша: «Воскресенье, 7 февраля 1926 г. Состоится первая постановка сенсационного боевика сезона. Исключительный сюжет. Ввиду того, что в пьесе выведены некоторые тобольские обыватели, а также исторические события времени пребывания здесь бывшего царя и его семьи, эта постановка представляет для Тобольска исключительный интерес. «Конец Романовых». Драма в пяти действиях. Сочинение М. Волохова и П. Арского». После сего уже не с одной церкви повалились под бурею жестокой кресты и маковицы, они вполовину и сегодня стоят обезглавленные.

Что до исключительных сюжетов — к ним опять, как в 20-е годы, потянулись поклонники сенсаций.

Уж коли оказались мы возле театра, надо и о нем упомянуть. Яркая, веселая красота всегда вызывает или любование, или раздражение. В Тобольске, и прежде всего в нижнем городе, немало праздничных зданий в стиле барокко и сибирского барокко, даже, как называют специалисты, местного барокко с неожиданной игрой и театральностью форм. Уже если жилые дома и храмы выписывались театрально, то театр в Тобольске должен был стать совсем особенным, не походить на своего собрата нигде в мире. О нем писали, еще когда он строился, что бедному и провинциальному городу (так оно и было в конце прошлого столетия) заводить такой терем не с руки. Он и есть терем. Деревянный. И не один, а несколько, набегающих друг на друга, подхватывающихся, соединенных в общий теремной городок, с шатрами, как коронами, над главным зданием и над приделами, увенчанный башенками и шпилями, разукрашенный резьбой, держащий при входе узорные колонны. Не сразу и найдешь, что можно поставить в Сибири рядом с такой нарядностью, форсистостью и фантазией. Разве что томскую деревянную узорность, но там она богаче — под стать своему городу, там она рисовалась в пору расцвета, когда Томск спорил за столичность в Сибири с Иркутском. Тобольск в то время отодвинут был далеко. Но он не был бы Тобольском, если бы и при бедности не напомнил о себе широким и красивым жестом. И сколько бы ни говорили о тобольском театре, что он перегружен деталями, ярмарочен, бросок, что нет в его формах ничего ценного, — да ведь и строился не в 16-м веке и строился не под университет. А что вспомнил и повторил глубокую старину, украсился под сказочную старину, показал русский дух по-билибински ярко, щедро, легко и замысловато — за то спасибо театру. При одном взгляде на него вольно распрямляется душа и всплывает улыбка. Театр начинается с театра, со стен его, принимающих зрителя.

Это был один из последних заметных штрихов в архитектурном лице города. Позже театра появился, кажется, лишь особняк купцов Корниловых возле Базарной площади — и тоже не без претенциозности, которую в живых столицах сочли бы устаревшей. Затем началось старение уже не моральное, а физическое, угасание и проживание нажитого. Вот и театр давно нуждается в ремонте и не может его дождаться. Архитектура, как и повсюду, стала вычерчиваться квадратными метрами, Ремезовы и Черепановы (Черепановы — тобольские зодчие, строители и летописцы из ямщиков) исчезли, столоначальники пошли не только без царя, но и без России в голове, нужда в мастерах отпала, стиль жизни потребовал замены искусства ремеслом, духовности — агитационностью; постоянно говоря о прекрасном будущем, ни камня не положили в это будущее, не поспевая за настоящим; из богатства и бедности, из величия и скудости, смешав их, добыли хлебово, поддерживающее лишь желудок…

Заканчивая воссоздание в прежнем облике кремля, Тобольск, похоже, растерялся: что же дальше? Работы непочатый край, в нижнем городе сплошь одна работа, а реставрационные мастерские слабы, мастеров мало, зарплата — как из милости. В чужие двери стучаться — всюду то же самое, в свои — в своих дверях заняты прокормно-обогревными делами, там не до истории, не до старины. Жизнь давно уже приняла конвейерный характер со все убыстряющейся скоростью, и что не успели набросить на конвейер сегодня, завтра негде взять. Мчится эта слепая прожорливая линия мимо старого Тобольска, мчится невесть куда, издавая требовательные понукания, и устроена она так хитро, что только на нее и наворачивай, а снять ничего не смей. Сочувствие к погибающему историческому городу меж пробежками проявить еще можно, а на помощь ни времени не остается, ни денег, ни сил. Потом, потом… Это стало походить на рок.

Я слышал о тобольской «Доброй воле» раньше; в отличие от множества неформальных объединений, заполнивших в последние годы общественную жизнь, она появилась еще до перестройки. Появилась и, несмотря на подозрительность к ней, патриотические движения всегда подозрительны (у нас привычней принимают групповое насилие, чем групповое посилье, пособь, которую тут же продолжат в пособничество и к чему только не подвяжут), несмотря на недоверие и окрики, не исчезла. В таких случаях должен быть руководитель, лидер; интеллигенция наша горазда вести разговоры, но не двигаться, — лидером оказалась инженер Людмила Николаевна Захарова, больше десяти лет назад приехавшая на стройку комбината из Омска. То, что из Омска, придало ей решительности и инициативы, в Омске со своей стариной обошлись как с пережитком проклятого прошлого и уничтожили, а в Тобольске Людмила Николаевна нашла город как из другого мира, уже и не подозреваемого ею, что он существует, влюбилась в него, почувствовала, как удобен он для души, как покровителей отеческой вере, как много говорит он улицами и стенами. Со временем она осмотрелась внимательней и увидела, что не только сносы и грабительство, но и равнодушие, небрежение, мимоходство, привычка к духовно-прожиточному минимуму губят город ничуть не меньше, а только медленней. Надо было что-то предпринимать. Захарова пошла в газету и дала на пробу объявление к тобольским гражданам тогда-то и там-то собраться на первый субботник по восстановлению старины. И — собрались. Обратись с подобным призывом власть — вероятней всего поостереглись бы, привыкнув не доверять ей в том, что выходит за текущий день, а тут призыв почти от себя, от неопытного и искреннего сердца. Выяснилось, что и у них сердца болели тем же. Пришли школьники, студенты (в Тобольске пединститут, и носит он, как ни странно, имя не Клары Цеткин, а Д. И. Менделеева), рабочие пришли и косторезы, бабушки вместе с внуками, сотрудники краеведческого музея и Дома пионеров. Сначала были «прихожанами» церкви Михаила Архангела, ломами и кайлами вырубая из нее закаменевшую за десятилетия грязь, чтобы после реставрации устроить выставочный зал, потом пошли выручать дом Ершова для музея его имени, потом дом Фонвизина для музея политической ссылки, провели переучет деревянных памятников, взялись на пустыре, заваленном строительным мусором, разбивать сквер. А после работы — самовар, сейчас «Доброй воле», когда доказала она истинность своего названия, отдали во временное пользование и для ремонта квадратную башню в кремле, за самоваром чтения и беседы о прошлом города, песни и встречи с гостями Тобольска.

Конечно, в сравнении с тем, что требуется сегодня Тобольску, а требуются ассигнования, а не подачки, значительное увеличение мощностей реставрационных мастерских, повышение квалификации реставраторов, которое зависит и от зарплаты, а также повышение духовной квалификации городских и областных руководителей по отношению к историческому городу, — по сравнению со всем этим «ручной», скажем, вклад «Доброй воли» рядом с механизированным производством не столь и велик, как хотелось бы, но и при малости его пользу он приносит огромную. И польза его прежде всего в том, что: вот как надо. Не ждать, явится ли добрый дядя, который соблаговолит заметить рядом с нефтью древний город, приклонивший в прошлом к России эту землю, а все больше и больше готовить постепенно такую обстановку и воспитывать примером такой народ, чтобы он не мог из него не явиться.

Другого пути у нас, похоже, нет.

Лишь возле Базарной площади нижний Тобольск покажется благополучным. Сюда еще в прошлом веке спустились торговля и административный центр, сейчас здесь асфальт, широкая планировка улиц, богатые особняки, в Гостином дворе шумит универмаг, Захарьевская церковь, образец местного барокко, обнесена реставрационными лесами. Неподалеку губернаторский дом, в котором после революции содержалась царская семья, рядом плацпарадная площадь. Напротив — уже упоминавшийся дворец купцов Корниловых, построенный незадолго до революции. В губернаторском доме сегодня райком партии и райисполком, в доме купцов Корниловых — банк, а Благовещенскую церковь, в которой молился император, чтоб о лишнем не напоминала, уже в 50-х годах снесли. «Умом Россию не понять…» Чтобы еще раз убедиться в этом, достаточно пройтись не спеша по улице Мира, где присутствуют и отсутствуют поименованные и другие здания и где свои архитектурные стили в классицизме, барокко, эклектике и примитиве они распространили на современное общество.

А от Базарной площади по Софийскому взвозу, который в разные времена назывался и Прямским, и Торговым, и Базарным, через 198 деревянных ступеней можно подняться, оглядываясь на нижний город, к арке Дмитриевских ворот, над которой проходит Рентерея, или Шведская палата в ансамбле кремля. Шведская — потому что по чертежам Семена Ремезова строили ее пленные шведы. За воротами сразу словно в другой мир переносишься, где Сибирью и не пахнет, а встретить его можно где-нибудь в средневековой Европе. Глубокий, как ущелье, каменный коридор с отвесными стенами намерен, кажется, вести лишь в подземелье. О подземных ходах, прорытых от наместнического дворца и обжитых затем разбойниками, и поныне продолжают гулять легенды, но тоннельный ход от Софийского взвоза выводит на простор и свет Троицкого холма к западной стене кремля возле Софии. Первое, что видишь, — на уцелевшей стене мозаичный портрет Семена Ремезова, выполненный в наше время, когда стала возвращаться память.

Собственно, то, что заключено в стены и зовется сейчас кремлем, есть лишь половина кремля — Софийский двор с пристроем к нему двора Гостиного. Вторая половина, центр административный, располагался в Малом городе на западной оконечности Троицкой горы. Их и соединяла торжественным переходом Рентерея, предназначавшаяся под хранилище казны. В этом качестве Рентерея, судя по всему, прослужила весьма недолго. А. Н. Радищев, на полгода задержавшийся в Тобольске по пути в Илимскую ссылку, застал уже в Рентерее архивохранилище, где и увлекся чтением сибирской истории, составив потом «Описание тобольского наместничества» и «Описание китайского торга».

Рентерея протягивалась над взвозом уже при губернаторе Гагарине. До того в должности главного строителя каменного кремля Ремезов поставил Гостиный двор и в Малом городе Приказную палату. Гостиный двор сейчас реставрируется, а Приказная палата еще в 18-м столетии вошла частью в дворец наместника, в котором хозяйничает ныне рыбопромышленный техникум. Только для бухарских и китайских купцов делалось прежде исключение, только они из уважения к богатству и торговле могли квартировать в кремле. В наше время — рыбопромышленный техникум, питомцы которого, не наученные уважению к родным святыням, пристрастились сбивать, по их мнению, излишества на памятниках декабристам и тоболякам, перед именами которых полагается благоговеть. «О времена! о нравы!» — можно бы привычно воскликнуть по этому поводу, однако оно, восклицание это, во-первых, не слышимо теми, кому предназначается, а во-вторых, лучше оставить его до выхода из кремля в верхний город, где с северной стороны вплотную к нему приткнут стадион. Но и тут от классического римского выражения удержал меня мой спутник, родом из города Горького, объяснивший, что стадион под святыми стенами — это еще полбеды, а вот если бы тутошнее наместничество вбухалось со своими функциональными этажами на заповедную территорию кремля, как случилось в Горьком, тогда была бы полная беда. А стадион… какую ж надо голову иметь, чтобы разобраться, где ему быть?

Наибольшего могущества достиг Тобольск в 18-м веке, и началось оно с разделением российских территорий на губернии. Тобольская, или Сибирская, губерния одна тянула не меньше, чем все остальные, и простиралась от Великого Новгорода до Великого океана, включая в себя вятские, пермские и оренбургские земли, как бы принявшись, дойдя до океана и развернувшись, распространять свою власть за Урал. Это «как бы» имело потом, насколько можно догадываться, серьезные последствия.

Первым сибирским губернатором назначен был князь М. П. Гагарин, в молодости стольник Петра, затем нерчинский воевода, судья Сибирского приказа, комендант Москвы. В то время строился Петербург и строился он, как БАМ в наши дни, всей страной, каменное строительство повсюду было запрещено — Петербургу не хватало мастеров. И только Гагарину, благодаря своей близости к императору, удалось добиться для Тобольска исключения. При нем сооружение кремля завершилось. Оно не окончательно было завершено, но пришло к тому результату, который воспринимается нами как законченный ансамбль. При Гагарине расширяется торговля, развиваются ремесла, отовсюду идут сведения о сыскании руд, серебра и золота, на Крайнем Севере по Холодному океану открываются новые острова, джунгарские подданные просятся под руку Сибири. Ничего не стоит Гагарину руками пленных шведов взять и отвести русло Тобола на две версты в сторону — чтобы не подмывал кремлевскую гору. В Тобольске чеканится собственная, сибирская монета. Сибирь все меньше походит на малосведомую страну, какой она считалась еще накануне нового века.

Неожиданная расправа Петра и позорная смерть князя Гагарина до сих пор таят в себе загадку. Можно лишь предполагать, что вызвало тяжелый гнев государя. «За лихоимство» — это, вероятно, далеко не все. Да, любил Матвей Петрович роскошь и блеск, он и на службу в Тобольск плыл от Верхотурья на судне, обшитом красным сукном. Слухи живучей свидетельств, а они до сих пор нашептывают, что при выездах князя лошади стучали по мостовой серебряными подковами, ободья колес были также обиты серебром. Но любил и сам щедро одаривать. То выдаст пособие шведам в несколько тысяч, то отправит от себя в Киево-Печерскую лавру золотые сосуды, то поднесет тобольскому кафедральному собору бесценную митру, которая «украшена золотым крестом с алмазными искрами и убрана 40 финифтяными золотыми чеканными штуками, 778 драгоценными камнями, в том числе 8 изумрудами, 532 алмазными искрами, 31 большим яхонтом и 3131 жемчужиной». За лихоимство Петр взыскивал строго, да и на расправу был скор, но не до того же, чтобы повешенного перед юстиц-коллегией прославленного сибирского губернатора приказал он не снимать с виселицы, пока не сгниет веревка. И сгнила, доносит опять молва, — подняли и вздернули на цепь. Это было что-то сверх кары, для этого требовалась вина сверх любостяжания. Не имея доказательств, историки намекают, что при следствии «развязались в Сибири языки у злословия, у злобы, неблагодарности… иный утверждал, что Гагарин злоумышлял отделиться от России…» (П. А. Словцов).

Не здесь ли и надо искать разгадку Петровой расправы? Едва ли Гагарин «злоумышлял», но мог, мог вельможный губернатор гаркнуть при подвернувшемся фискале водившимся у него зычным голосом: «Мы сами государство!» Мог и повторить, недовольный поступившим повелением. И этого оказалось достаточно, чтобы получить приговор по подменной вине, а подлинные обвинения скрыть. Случайно ли, что вскоре после отозвания Гагарина в Петербург Сибирь разделяется на провинции, а при Елизавете при губернаторах заводятся тайные комиссии. Без Сибири Россия уже и не помышляла жизни, Сибирь приучила правительства к легким доходам, ее щедрость как не способствовала ли общему нашему безрадетельству.

Кроме лихоимства, попробуем вспомнить в сибирских губернаторах что-нибудь поприятней и попоучительней. Вспомним Федора Ивановича Соймонова, заступившего на губернаторство через сорок лет после Гагарина. Тоже любимец Петра, спасший ему в молодости жизнь, при Бироне Соймонова по подложному обвинению судили, рвали ему ноздри и отправили в Сибирь на вечную каторгу. Слишком давно на Руси завелось, что возвышенный при одном правителе становился преступником при другом. Помилованного при новой смене власти Соймонова с трудом разыскали близ Охотска, вернули ему поместья и награды и направили губернатором в Тобольск.

Не станем перечислять плоды его деятельности в Сибири, поверим историкам, что они были по тем временам значительные и касались просвещения, продовольствования народа, устройства путей сообщения, облегчения участи раскольников и прочего. Но вот что оставлено Соймоновым в письменных трудах: «История Петра Великого», «Краткое изъяснение астрономии», «Известие о торгах сибирских», «Сибирь, золотое дно», «Описание Каспийского моря», «Описание штурманского искусства» и т. д.

Другой губернатор сибирский, Д. Н. Бантыш-Каменский, был автором «Словаря достопамятных людей земли русской» в пяти томах.

А. М. Деспот-Зенович первым своим делом считал покровительство печати и культуре.

А Алябьев, отец композитора! А Сперанский! А Муравьев-Амурский!

Да, были люди в ваше время…

С Борисом Эрнстовым, научным сотрудником Тобольского краеведческого музея и знатоком тобольской старины, мы отправились взглянуть на Искер. Давно нет уже этого города, татарской столицы Сибири на берегу Иртыша, ставки Кучума, откуда управлял он своими владениями и куда свозил богатую дань. Города нет, но хотелось посмотреть хоть на место, где он стоял, представить, как стоял, с какой стороны входил в него Ермак, что перед собой видел. И хотя знал я, что Иртыш (землерой с тюркского) подмывает и Кучумов холм, что, вероятней всего, мало что от него осталось, но и это «мало» не терпелось увидеть.

По Иркутскому тракту мы проехали мимо Ивановского монастыря, поставленного первой постройкой в середине 17-го века, миновали вдоль полей еще несколько верст и перед лесной полосой остановились. Иртыш остался справа, за полями. Дороги туда нет, нет нигде и упоминания об Искере. Только чудаки да историки помнят еще о нем, редко кто спросит теперь о Сузге, красавице жене Кучума, которой Ершов посвятил поэму. История, кормясь, тоже пашет свою пашню, и целый пласт ее перевернут за четыреста лет, полностью погребя под собой Кучумово царство, и уж немного, судя по всему, остается, чтобы и новому пласту лечь наверх и закрыть навсегда даже и для памяти былое тобольское могущество.

Мы пошли по лесной меже, нахватали с берез клещей, которых потом выдирали из себя дня три. От реки Сибирки, подходившей к Искеру, теперь только урман и остался, в котором было русло. Он повернул круто влево, а мы направились через незасеянное поле напрямик к Иртышу. И когда вышли — будто вознесло нас, и далеко-далеко, верст на тридцать, открылось его подолье в зелени и старицах, островах и низких берегах. Перед такой картиной с особенной печалью чувствуешь свою немоту, это восхищение не имеет языка. Видно, и в нас, как в Сибирке, пересыхают чувствительные струи, и лишь по обессиленным смутным толчкам догадываемся мы, где, перед чем бы они брызнули и наполнили нас радужной страстью. Не то же ли самое происходит и перед делом рук человеческих, перед вершинными творениями предков наших, перед коими мы останавливаемся, догадываясь, что достойны они восхищения, — и оскудело восхищение. Можно расчистить русло Сибирки, но где взяться влаге, если завалены и опустынены истоки? Часто, слишком часто любование наше имеет механическую силу, словно даешь себе команду, что тут принято любоваться, и принимаешься качать насосик.

По высокому берегу Иртыша и подошли мы к крутому оврагу, за которым воздымался Кучумов холм. Историк Миллер два с половиной века назад застал здесь пятьдесят сажен в ширине холма, тобольский краевед и художник М. С. Знаменский сто лет назад намерил лишь пятнадцать сажен. Ныне ушло под воду и начало их замеров. Знаменский пил из Сибирки студеную воду, стоял над знаменитым Кучумовым колодцем, отрытым на случай осады. Сегодня все кануло в преисподнюю. От холма осталась уже и не часть его, а понижение к Сибирке с северной стороны. Как время сносит события, так ветер и вода — место этих событий на земле, и чем громче и ярче прозвучали они в истории, тем безжалостней результат.

С основанием Тобольска и восселением русских Искер обречен был на гибель, Иртыш лишь исполнил приговор. Какая судьба ждет теперь Тобольск, неужели явятся люди, которые поставят новый град и отдадут Тобольск Иртышу или какой-нибудь иной силе? Суждено ли им быть? Или они уже пришли, молодые и энергичные, без груза памяти на этой земле, и встали под боком Тобольска, тесня и тесня его к обрыву? Пятнадцать верст считалось от Искера до Тобольска. Эти — рядом. Не значит ли это, что настолько же скоростней будет их безжалостный надвиг?

Или они все же мирно уживутся?

Или — как вышло с домом М. С. Знаменского, того самого, который за сто лет до нас искал Искер. Дом снесли, на его место поставили новый и прибили к нему, полностью новому, прежнюю мемориальную доску: «В этом доме жил известный художник-демократ М. С. Знаменский». Тоже выход для исторического города.

Что ждет тебя, Тобольск, громкая, славная старая столица Сибири?! Достанет ли у нас сил, мужества, убедительности, памяти и доброй воли, чтобы тебя отстоять?

1988

**А. И. Солженицын.** «Колокол Углича».

Кто из нас не наслышан об этом колоколе, в диковинное наказание лишённом и языка и одной проушины, чтоб никогда уже не висел в колокольном достоинстве; мало того – битом плетьми, а ещё и сосланном за две тысячи вёрст, в Тобольск, на колымаге, – и во всю, и во всю эту даль не лошади везли заклятую клажу, но тянули на себе наказанные угличане – сверх тех двухсот, уже казнённых за растерзанье государевых людей (убийц малого царевича), и те – с языками урезанными, дабы не изъясняли по-своему происшедшее в городе.

Возвращаясь Сибирью, пересёкся я в Тобольском кремле с опустелым следом изгнанника – в часовенке-одиночке, где отбывал он свой тристалетний срок, пока не был помилован к возврату. А вот – я и в Угличе, в храме Димитрия-на-Крови. И колокол, хоть и двадцатипудовый, а всего-то в полчеловеческих роста, укреплен тут в почёте. Бронза его потускла до выстраданной серизны. Било его свисает недвижно. И мне предлагают – ударить.

Я – бью, единожды. И какой же дивный гул возникает в храме, сколь многозначно это слитие глубоких тонов, из старины – к нам, неразумно поспешливым и замутнённым душам. Всего один удар, но длится полминуты, а додлевается минуту полную, лишь медленно-медленно величественно угасая – и до самого умолка не теряя красочного многозвучья. Знали предки тайны металлов.

В первые же миги по известью, что царевич зарезан, пономарь соборной церкви кинулся на колокольню, догадливо заперев за собою дверь, и, сколько в неё ни ломились недруги, бил и бил набат вот в этот самый колокол. Вознёсся вопль и ужас угличского народа – то колокол возвещал общий страх за Русь.

Те раскатные колокольные удары – клич великой Беды – и предвестили Смуту Первую. Досталось и мне, вот, сейчас ударить в страдальный колокол – где-то в длении, в тлении Смуты Третьей. И как избавиться от сравненья: провидческая тревога народная – лишь досадная помеха трону и непроби́вной боярщине, что четыреста лет назад, что теперь.

**Родные просторы (3 ч)**

Русское поле

**И. С. Никитин.** «Поле».

**Иван Никитин**

# Поле

Раскинулось поле волнистою тканью  
И с небом слилось темно-синею гранью,  
И в небе прозрачном щитом золотым  
Блестящее солнце сияет над ним;  
Как по морю, ветер по нивам гуляет  
И белым туманом холмы одевает,  
О чем-то украдкой с травой говорит  
И смело во ржи золотистой шумит.  
Один я… И сердцу и думам свобода…  
Здесь мать моя, друг и наставник — природа.  
И кажется жизнь мне светлей впереди,  
Когда к своей мощной, широкой груди  
Она, как младенца, меня допускает  
И часть своей силы мне в душу вливает.

1849 г.

**И. А. Гофф.** «Русское поле».

Поле, русское поле…  
Светит луна или падает снег, —  
Счастьем и болью вместе с тобою.  
Нет, не забыть тебя сердцем вовек.  
Русское поле, русское поле…  
Сколько дорог прошагать мне пришлось!  
Ты моя юность, ты моя воля —  
То, что сбылось, то, что в жизни сбылось.

Не сравнятся с тобой ни леса, ни моря.  
Ты со мной, мое поле,  
Студит ветер висок.  
Здесь Отчизна моя, и скажу, не тая:  
— Здравствуй, русское поле,  
Я твой тонкий колосок.

Поле, русское поле…  
Пусть я давно человек городской —  
Запах полыни, вешние ливни  
Вдруг обожгут меня прежней тоской.  
Русское поле, русское поле…  
Я, как и ты, ожиданьем живу —  
Верю молчанью, как обещанью,  
Пасмурным днем вижу я синеву.

Не сравнятся с тобой ни леса, ни моря.  
Ты со мной, мое поле,  
Студит ветер висок.  
Здесь Отчизна моя, и скажу, не тая:  
— Здравствуй, русское поле,  
Я твой тонкий колосок.

**Д. В. Григорович.** «Пахарь» (главы из повести).

**I. Первые впечатления**

…Звонили к вечерне. Торжественный гул нескольких сотен колоколов усиливался постепенно и разливался мягкими волнами над Москвою. При ярком блеске весеннего солнца, начинавшего клониться к западу, Москва казалась волшебным, золотым городом. В эти часы весенних ясных вечеров Москва ни с чем сравниться не может! Но все-таки не нахожу слов, чтобы передать радостное чувство, которое овладело мною при расставании с городом. Я как будто воскрес душою, когда миновал Замоскворечье, проехал последнюю улицу, обставленную трактирами, запруженную народом, подводами, сайками, калачами, баранками, и очутился наконец за заставой.

Шум и возня, превращающие близость застав в многолюдный базар, делают еще заметнее резкий переход из города па поле. С каким наслаждением откидываешь верх тарантаса! А между тем впечатление еще не полно: долго попадаются возы с телятами, овощами и припасами всякого рода, встречаются толпы каменщиков, плотников и других рабочих. Все это невольно приводит на память городскую возню и суматоху, которую только что покинул и которая так давно наскучила. Время от времени приходится проезжать длинные села с каменным барским домом, как бы перенесенным сюда прямо с Тверского бульвара. На улице народ в картузах и синих мещанских кафтанах; бабы в штофных коротайках; парни похожи на фабричных щеголей; девки с бойкими глазами и пухлыми, белыми руками, никогда не бравшими серпа. Все почти подворотни превращены в лавочки: везде весы, баранки, деготь и ободья; в окнах неуклюжие самовары. Верст за десять и даже более от заставы встречаются щегольские, расписанные цветами тележки, в которых величественно восседает толстая мещанка с золотисто-фиолетовым платком на голове; рядом помещается такой же толстый сожитель, мещанин, — купец, поставляющий крупу или муку в один из столичных лабазов… И долго, еще долго будут попадаться давно наскучившие и как бы скроенные на один лад физиономии; долго станет преследовать звяканье медных пятаков, смешанное с тем несносным, одуряющим голову дребезжаньем, которое преследует вас в городе и днем, и ночью. Приморские жители уверяют, что звук, который слышится в больших раковинах, происходит от того будто бы, что в их пустоте навсегда остается шум моря: «море нашумело», говорят они. Надо полагать, человеческое ухо, как эти раковины, если не всегда, то надолго способно сохранять шум города. Город давно уже успел исчезнуть; исчезли постепенно и самые признаки городской суетливости; даже колокольный звон, долго покрывавший все остальные звуки, тонул и терялся в пространстве. Но все еще в ушах раздавались шум и трескотня улиц, грохот экипажей, хлопотливый говор, знакомые голоса и восклицания… Я страшно тяготился городом!…

Разлука с ним чувствительна для тех, кто оставляет за собою особенно близких людей или особенно дорогие воспоминания; но когда нет ни тех ни других, когда покидаешь одну суетную, мелкую жизнь, оставляющую после себя чувство умственной и душевной усталости и непременно чувство какого-то неудовольствия и даже раскаяния, — разлука с городом делается сладостною выше всякого описания. Понятно тогда, почему так заботливо стараешься забыть все прошлое; понятно, почему сердце так только вот и рвется вперед и вперед к этому бескрайному горизонту, полному такой невозмутимой, такой торжественной тишины…

С каждом шагом вперед, кругом делалось тише и тише, воздух свежее и свежее. Я нетерпеливо ждал минуты, когда прощусь с большой дорогой. К счастию, недолго было дожидаться: на пятнадцатой версте я повернул на проселок.

**II**

И вот я снова в полях, снова на просторе, снова дышу воздухом, пахнущим землею и зеленью!

Чудный был вечер! Солнце было еще высоко над горизонтом: оставалось час или полтора до заката. Прозрачное, безоблачное небо дышало свежестью; оно сообщало, казалось, свежесть самой земле, где на всем виднелись признаки юности. Апрель приближался к концу. Весна была ранняя, дружная; снег давно сбежал с полей. Повсюду, направо и налево от дороги, вдали и вблизи, по всем буграм и скатам, зеленели озими, освещенные косвенными золотыми лучами; тонкие полосы межей были еще темны; над ними вместо тучных кустов кашки, донника, ежевики и шиповника лоснились покуда пунцовые прутья и подымались ноздреватые, пересохнувшие стебли прошлого года; где-где разве развертывался и сквозил мягкий, как бархат, лист земляники. Но как уже хорошо было в поле! Тишина необыкновенная. Так тихо, что ни одна былинка не покачнет головкой; а чувствуешь, между тем, — слышишь даже, что весь этот неоглядный простор земли и воздуха наполнен жизнию и движением. Напрягаешь слух, жадно прислушиваешься… И — странно! — звуки эти радостно даже как-то отдаются в душе и тешат ее… Совсем не то, что в городе… В блестящей глубине небесного свода не видать жаворонка; но воздух наполнен его переливами. В каждой борозде, в чаще мелкой травы, в озимях слышатся писк, шорох. Далеко в рощах воркует горлинка и перелетают с места на место дикие голуби. Все оживает: в самой тонкой ветке, в самых нежных стебельках движется свежий сок, хлынувший из корня, которому так тепло теперь под землею, нагретою солнцем. Мириады насекомых роями жужжат в воздухе, снуют и качаются на гибких травках молодой зелени. Солнце везде и всюду: солнце насквозь пронизывает густые чащи, не успевшие еще заслониться листом; солнце донимает в глубине лесов и оврагов остатки рыхлого, почерневшего снега; солнце жаркими лучами обливает поля, где сквозь редкую еще зелень блистают новые отпрыски озимого хлеба и желтеет прошлогоднее, дотлевающее жнивье. С каким наслаждением выставляешь на вешнее солнце спину и обнаженную руку! В воздухе уже не чувствуешь той проникающей сырости, которая заметна в первую весеннюю пору, когда реки в разливе; реки вступили в берега свои. Вода сквозила и отражала чистую синеву неба: леса — особенно, если смотреть на них сбоку — видимо, почти опушались. Еще два-три такие дня, и птицы, которые поминутно встречаются с соломинкой или перышком в носу, начнут вить свои гнезда в защите под куполами и сводами молодых листьев.

Местами проселок был влажен; но нигде не было следа грязи: колеса катились как по бархату, оставляя по чернозему следы, как бы покрытые лаком.

Славное было время для путешествия!

**III**

Мне следовало проехать около двухсот верст по этому проселку. Недалеко, кажется, но, в сущности, это целое странствование: предстояло переехать Оку, на которой, судя по времени, не успели еще навести моста; было на пути еще несколько маленьких речек, которые переезжаются обыкновенно вброд, потому что мосты на них обманчивее всего брода. Но я не скучал этим.

Надо вам сказать: я с детства чувствую особенное влечение к нашим русским проселкам. Если судьба приведет вам когда-нибудь случай ехать по России, если при этом вам спешить некуда, вы не слишком взыскательны в отношении к материальным условиям жизни, а главное, если вам страшно наскучит город, советую чаще сворачивать с больших дорог: большие дороги ведь почти те же города! Это бесконечно длинные, пыльные и пустынные улицы, которыми города соединяются между собою; местами та же суета, но уже всегда и везде убийственная скука и однообразие. От Петербурга до Харькова, от Москвы до Перми — те же станционные дома, те же вытянутые в ряд села и деревни, предлагающие овес, деготь, кузнеца и самовар; вам мечутся в глаза те же полосатые версты, те же чахлые, покрытые едкой пылью ветелки, те же ямщики. Вся разница в том, что один ямщик говорит на «о» и носит шапку на манер гречишника, а сто верст далее делают ударение на «щ», и шапка его несколько приплюснута. «От Мурома до Нижнего столько-то, и столько-то от Орла до Тамбова!» — вот все, что узнаете вы на больших дорогах.

То ли дело проселки! Вы скажете: поэзия! Что ж такое, если и так? И наконец, если хотите знать, поэзия целой страны на этих проселках! Поэзия в этом случае получает высокое значение. Правда, вам не предложат здесь баранков, вы часто исходите целую деревню и не найдете самовара; не увидите вы здесь ни пестрых столбов, ни ветел, ни станций; не вытягиваются проселки по шнуру; не трудился над ними инженер — все это совершенная правда: их попросту протоптал мужичок своими лаптишками; но что ж до этого! Посмотрите-ка, посмотрите, какою частою, мелкою сетью обхватили они из конца в конец всю русскую землю: где конец им и где начало?… Они врезались в самое сердце русской земли, и станьте только на них, станьте — они приведут вас в самые затаенные, самые сокровенные закоулки этого далеко еще не изведанного сердца.

На этих проселках и жизнь проще и душа спокойнее в своем задумчивом усыплении. Тут узнаете вы жизнь народа; тут только увидите настоящее русское поле, в тем необъятно-манящим простором, о котором так много уже слышали и так много, быть может, мечтали. Тут услышите вы впервые народную речь и настоящую русскую песню, и, головой вам ручаюсь, сладко забьется ваше сердце, если только вы любите эту песню, этот народ и эту землю!…

**IV**

Посмотрите теперь, какое здесь разнообразие. Проселок, цепляясь с другими, бежит вперед и вперед, открывая поминутно новые виды: где деревушку, которая боязливо лепится по косогору, где пруд с головастыми ветлами, осокой и дощатым плотом, на нем толпа баб с вальками и коромыслами, пруд, отражающий клочок неба и кровлю перекосившейся избушки; где группу кудрявых дубков с вьющимися над ними галками и отдыхающим в стороне стадом; где гладь, бескрайную, необозримую гладь полей, и посреди ее, на каком-нибудь перекрестке, одинокий крест или часовню; где лощину, покрытую частым орешником и перерезанную ручьем, который пересох в песчаном дне, усеянном угловатыми камнями. Вы спускаетесь на мост, который, едва прикоснулись к нему копыта лошади, весь как будто переполнился страхом; дрожит он всеми своими суставчиками; дрожит, опасаясь, вероятно, за свое собственное существование столько же, сколько за жизнь смельчаков, которые так беззаботно вверяют ему свои кости. G диким криком и верезгом поднялась стая чибезов, испуганных шумом… И вот снова поднялись вы по косогору, снова на проселке, и снова пошли направо и налево новые виды: где клин соснового бора, который глянул для того, кажется, чтобы тотчас же скрыться; где снова зеленеющие пажити, с движущимися тенями туч и косыми полосами ливня на горизонте; а вот и большое село, с белою церковью на бугре, речкой, отражающей старинный липовый сад, лугами, избами, скворечницами и колодезным журавлем, высоко чернеющим в небе… И как, право, хороши эти виды!

**V**

А между тем, чем далее подвигался я в глубину полей, тем тишина, меня окружавшая, делалась все торжественнее. Солнце село; вместе с ним угасла, казалось, и самая жизнь: смолкли хоры, смолкла гармоническая музыка, наполнявшая весь день и воздух, и землю. Темно-синий горизонт разлился по небу, и загорелись звезды…

На другой день, вечером, я приближался к цели моей поездки. Беззаботное, счастливое настроение духа, которое не оставляло меня во всю дорогу, стало изменять мне; сам не знаю отчего, но кровь волновалась сильно, я начинал чувствовать то внутреннее беспокойство, которое предшествует всякому ожиданию, как радостному, так и печальному. Когда я поднялся на холм, откуда видны были сначала деревня, потом роща, а за нею кровля дома, сердце мое забилось вдруг необыкновенно сильно.

Не верьте, пожалуйста, нашим столичным умникам, которых мы же сами, не находя им другого названия, а может быть, просто, из снисхождения, прозвали людьми с строгим, философским складом ума. Посмеиваясь над самыми простыми, естественными и, уж конечно, лучшими нашими чувствами, называя их действием воображения или слезливо-сентиментальными выходками, они, я уверен, слову не верят из того, что проповедуют: они только рисуются перед нами. Ведь только глупцы могут потешаться над тем, чего не знают или чего сами сознательно не переживали. Философия наших знакомых — больше ничего, как фразы, сухое и очень дешево доставшееся резонерство. Истинная философия состоит в убеждении, что лишнее умничанье ни к чему не ведт Счастие заключается в простой жизни; просто живут те только, которые следуют своим побуждениям и доверчиво, откровенно отдаются движениям своего сердца. Дайте любому философу живописный участок земли, дом — какой-нибудь уютный, теплый уголок, скрытый, как гнездо, в зеленой чаще сада; пускай вместе с этим домом соединятся воспоминания счастливо проведенного детства, — и тогда, поверьте, подъезжая к нему после долгой разлуки, он искренно сознается, что вся философия его — вздор и гроша не стоит!

**VI**

С каждым поворотом колеса я приподымался и нетерпеливо вытягивал шею. Глаза с жадностию перебегали от ряда знакомых ветел к крыше дома, которая начинала выглядывать из-за угла старого сада. Я уже мысленно ступал по тропинке, протоптанной через двор, она вела к липовой аллее, свидетельнице моих детских игр, первых моих слез и первых радостей. Существуют ли еще качели, привешенные к шесту между двумя старыми деревами?… Что сталось с моим садиком, который занимал всего аршин, но казался мне тогда великолепным парком?… Все ли еще существует и белеет на своем месте, за ветхою стеною амбара, каменная плитка, над которой, обливаясь когда-то слезами, хоронил я умершего воробья… Я превращался в ребенка; я волновался и радовался, как будто меня ждала там и простирала ко мне руки вся минувшая моя юность; как будто ждало меня там бог весть какое счастие!…

**VII**

А счастия, право, никакого не было! Дом мой опустел давным-давно, никто не махал мне издали платком; никто не бежал к околице; никто меня не встретил. Самый дом глядел угрюмо, неприветливо своими серыми бревенчатыми стенами, наглухо заколоченными ставнями, заброшенным палисадником и полуобвалившимся плетнем, из которого половина кольев была вынута.

— И все-таки — не странно ли это? — в душе моей ни тени тоскливого чувства! Кроме сладких воспоминаний детства, в сердце постепенно рождалось еще другое ощущение… сказать ли вам? я радовался тому именно, тому радовался, что никто не встретил меня, никто в эту минуту обо мне не думал и не заботился!… Я вошел в этот опустелый дом с тем же радостным биением сердца, с каким подъезжал к нему. Не вините меня в мизантропии или вообще в расположении к мрачному одиночеству. Не нужно быть вовсе мизантропом, чтоб чувствовать иногда сильнейшую потребность умственного, душевного спокойствия. Я просто утомился городом и искал тишины.

**VIII**

Мне случалось встречать людей, горячо привязанных к семейству. Вдруг, посреди самой счастливой обстановки, сами сначала не сознавая этого, начинали они предаваться неслыханной тоске. И в мыслях, и на языке была одна только мысль: уехать, исчезнуть куда-нибудь, где бы ничто не напоминало прерванных на время связей; и все это без малейшего повода со стороны семейства или внешних каких-нибудь обстоятельств.  
В числе убеждений, вынесенных мною из жизни и внушенных мне опытом, находится, между прочим, следующее: очень часто свет удивляется продолжительности некоторых сердечных связей. Вся тайна заключается в препятствиях, которые ставит этот же самый свет между связанными людьми, и мешает им не только неразрывно делить жизнь, но даже мешает беспрестанно видеться. Уничтожьте препятствия, и тогда, наоборот, все станут удивляться непрочности сердечных привязанностей. Счастие многих и многих семейств поддерживается только временными разлуками. Иное сердце пресыщается скоро, другое медленнее; но все равно испытывают пресыщение. И, наконец, даже и без этого чувства, так уж душа бывает иногда настроена, что полное, глубокое одиночество кажется единственным блаженством существования. В такие минуты самые ласковые речи, самая искренняя, задушевная нежность способны только раздражать нервы.

**IX**

Дом мой расположен как нельзя удобнее; он отдален от деревни; между ними холм и роща; из деревни не доходит ни одного звука, кроме лая собак и петушиного крика на заре. Самая деревня находится в исключительно благословенном положении: она как бы затеряна в глубине уезда между нескончаемыми полями и рощами.

Первым движением моим, Как только я вошел в комнату, было отворить окно всад. Ночь сменила сумерки Высокие липы обступали сад; кусты, разбросанные в беспорядке и успевшие уже в эти два дня опушиться веленью, сливались местами в одну совершенно темную массу и неопределенно круглились между дорожками, которые слегка серебрила роса. Слева только, между черными, как уголь, стволами, светлела часть пруда; в ней, как в чистом зеркале, незыблемо отражались синее небо и робко мерцающие звезды. Струи воздуха, пробегавшие перед закатом, не трогали теперь ни одной веткой. Запах вечерней росистой мглы, смешанный с запахом почек, молодых отпрысков, и запахом прошлогоднего листа, проникал, казалось, каждый атом воздуха и медленно курился над садом. Самое полное, самое невозмутимое безмолвие распространялось не только вокруг, но даже далеко по всей окрестности.

Я опустился на окно, отдаваясь весь новому сладчайшему впечатлению. Слух мой, освобожденный от трескотни города, получил страшную чуткость; но тишина окрестности ничем не нарушалась. Изредка чиликнет внезапно пробудившаяся птичка, прожужжит запоздавший жук, стукаясь рогатой головкой о сучья, или послышится треск молодой ветки, которая распахнулась от избытка свежего сока, и снова воцаряется молчание…

Влияние тишины, царствующей над полями, вполне может быть доступно тем только, кто долго тяготился треволнениями житейского моря, чей слух и чьи нервы многие годы постепенно тяготились и раздражались безумной суматохою города. Я чувствовал, как тишина вливалась в душу, и как делалось в ней и покойнее, и светлее.

**X**

Каждый день, прожитой здесь, приводит меня к убеждению, что сельская жизнь улучшает человеческую природу. Не считая того, что она ставит в необходимость жить больше с самим собою, представляет мало развлечений и тем самым сосредоточивает мысли и делает их яснее, одно из главных преимуществ ее заключается в том, что она значительно усмиряет нашу гордость. Влияние ее в этом случае совершенно противоположно влиянию города.

Там все заставляет нас много о себе думать: стесненные в домах и улицах, которые кажутся широкими только сравнительно, встречая на каждом шагу тысячи предметов, изобретенных человеком, мы невольно начинаем считать себя чем-то особенно важным. Все подтверждает уверенность в наше могущество, силу и способности. Здесь впечатления совсем другого рода: здесь уже давит нас один этот простор, которым окружены мы с утpa и до вечера. На улицах, между домами, точно делаешься заметным; здесь — превращаешься почти в ничто, в едва видную точку. Ваша власть уничтожается, как ваши размеры: здесь все растет, созидается, разрушается и движется, не обращая на вас ни малейшего внимания, не спрашивая ни вашего совета, ни вашего разрешения.

В городе отдаешь себе ясный отчет в своем гордом удивлении и, надо сказать, тотчас же переносишь частицу этого удивления к себе самому; здесь — удивляешься молча. Ум, пораженный бесконечным совершенством природы над совершеннейшими делами рук человеческих, пораженный всегдашним ее величием, смиренно сознает свое детское бессилие.

**XI**

Здесь встречаются так же, как и везде, неудачи, препятствия, неприятности; но если не выходишь из мирной сферы сельской жизни, самые эти неудовольствия не раздражают духа: в них всегда есть что-то примирительное. И, в самом деле, на кого здесь пенять? На дождик ли, который не вовремя упал на вашу ниву? на запоздалую ли весну и холодные утренники, которые задерживают рост травы и озимей? на червь ли, подточивший корень вашего хлеба, или на град, скомкавший широкое поле ржи, так приветливо золотившееся на июньском солнце и обещавшее такую богатую жатву?… Никто в этом не виновен. Горе «не от человека». «Так, знать, богу угодно!», «Его на то святая воля!…» — скажет вам здесь простолюдин. Вместе с этой нивой он и семья его теряют, однако ж, спокойствие целого года. Мысль эта является здесь беспрерывно. Горе, поразившее вас, велико; но оно не оставляет раздражения в сердце, не возбуждает бесполезного, грешного ропота. Свыкаясь с жизнию полей, привыкаешь мало-помалу отдавать все помыслы свои па волю провидения. Существование, порученное таким образом в исключительное распоряжение промысла, привычка покоряться постоянно его воле дают здесь, мне кажется, то душевное спокойствие, которое так напрасно ищешь в общественной жизни и городе, где все, более или менее, зависит от нас же самих или таких же, как мы, смертных. Жизнь течет здесь ровно, покойно. Когда живешь сознательно и честно, не знаешь, что значит «убивать время». День проходит незаметно.

Глазам не веришь, когда, подняв голову, видишь, что солнце давно обогнуло половину неба.

**XII**

Сильно также действует на душу ближайшее знакомство с бытом простого народа.

До сих пор, сколько я ни замечал, мне казалось всегда, что образованный класс общества всегда сочувствовал этому быту. Жизнь народа, была ли она изображена в книге или на полотне, всегда трогала и привлекала человека. Популярность таких художников, как, например, Леопольд Робер, успех многих сочинений, как древних, так и современных, только и объясняются этим тайным сочувствием к народу, к сельской жизни и всей наивной ее обстановке. Как, однако ж, после этого растолковать себе испуг, который все решительно обнаруживают при столкновении с самой действительностью?… Виновата ли эта действительность, если праздность, городская скука и неведение сельского быта внушают нам мечтания о каком-то небывалом, часто совершенно идиллическом мире?… Настроенные таким образом, мы, конечно, не находим в деревне того, чего искали. Разочарование ждет нас уже у самой околицы…

Сельская жизнь приучает смотреть на тот же предмет здраво, без преувеличения. Взгляд этот скоро примиряет с народом. Грубая его сторона находит свое оправдание в непросвещении и общих свойствах человеческой природы; она за ним и останется. Но зато какие сокровища добра и поэзии открывает другая сторона того же народа! Кого не удивит и вместе с тем не тронет слепая вера в провидение — этот конечный смысл всех философий, этот последний результат мудрствований и напряжений человеческого разума? Кого не тронут эти простодушно детские мысли и вместе с тем этот простой, здравый смысл, не стремящийся напрасно разгадывать тайны природы… нет! но принимающий дары ее с чувством робким, но радостным и исполненным величайшей благодарности? Кто не умилится душою при виде этого всегдашнего, ежедневного труда, начатого крестным знамением и совершаемого терпеливо, безропотно?

Когда откроется перед вами картина широкого простора и на ней живой пример тяжкого труда и простой, первобытной жизни, все ваши идиллии, плод праздной фантазии, покажутся вам мелкими до ничтожества! Присмотритесь, и вы увидите, что поэзия действительности несравненно выше той, которую может создать самое пылкое воображение!…

**XIII. Прогулка**

Наступало время, когда, после долгой зимы, поселянин снова выезжает в поле; когда, приладив соху в сошник, праздно лежавший столько времени и успевший покрыться ржавчиной, пахарь делает его чище серебра, взрывая согретую солнцем землю. Наступало время первой пахоты и первого посева. Я отправился в поле.

Вечер был чудесный, — такой же почти, как когда я, несколько дней тому назад, подъезжал к дому. Круглые облака опалового цвета, с белыми сверкающими краями, как бы выкованными из светлой жести, почти недвижно стояли в небе, открывая глубокие темно-голубые просветы. Окрестность наполнялась радостным сиянием. Листья окончательно распустились, и зелень блистала повсюду; у опушек рощ часто попадались фиалки и ландыши; бледно-розовые и белые колокольчики повилики, которая, с первым дуновением весеннего ветра, быстро переплетает старое жнивье, начинали пестрить поля и разливали в недвижном воздухе тонкий миндальный запах. Солнце, несмотря на первые дни мая и пятый час вечера, пекло, как в июле. Но меня не пугали ни жар, ни дальность расстояния (поля, куда я направлялся, считаются у нас самыми отдаленными от жилья). Следовало пройти холм и рощу, которые отделяют меня от деревни, миновать самую деревню и перейти речку. После моста дорога пошла тотчас же в гору. Волнистые скаты горы, то круглые и поросшие кустарником, то спускающиеся мягкими склонами и покрытые местами березовыми и сосновыми лесочками, составляют правый бок зеленеющей живописной долины: на дне ее полукруглыми извилинами блестит речка. Вершины этих скатов позволяют обозревать всю окрестность; но прежде чем достигнешь такой высоты, приходится очень долго подыматься.

Я почувствовал наконец, что дорога стала как бы опускаться; вместе с этим воздух сделался подвижнее. Окрестность открылась как на ладони; деревня казалась подле самого моста; дом, холм и березовая рощица казались примыкавшими теперь к деревне. Все это: и дом, и сад, и деревня — принимало теперь вид тех игрушек, где стебли мху изображают деревья, кусочки зеркала — речку. Овцы, рассыпанные по лугу, на дне долины, мелькали, как белые крапины, которые то сверкали на солнце, то исчезали посреди длинных голубых теней, бросаемых облаками. Поля занимали всю вершину горы; она была срезана как ножом и представляла версты на две гладкую, как стол, поверхность. Горизонт замыкался только небом и, слева, опушками рощ, которые спускались в долину; облака на дальнем горизонте выходили как будто из земли.

По мере того, как я подвигался вперед, ветер делался заметнее. Иногда меня обдавало теплом, как из жерла раскаленной печки, и вместе с этим сильнее приносился тучный запах земли, которым так легко, однако ж, дышится. Крики «возле, возле!» — которыми пахари понукают лошадь, заставляя ее в то же время идти подле соседней борозды, доходили явственнее. Вскоре передо мной совсем открылось поле, облитое солнцем и оживленное пахарями, лошадьми, подводами, глухим жужжаньем насекомых и жаворонками, которые неумолкаемо заливались в небе.

**XIV**

Дорога вела в самую середину полей; на всем протяжении они перерезывались ровными десятинами. Пересохшие растения и корни, выхваченные зубьями сохи, местами покрывали межи; местами межи резко отделялись зеленью молоденькой травки от коричневой, только что вспаханной почвы, исполосованной свежими бороздами. Земляные испарения струились и переливались в воздухе, сообщая особенную, какую-то золотистую мягкость всем предметам, жарко облитым солнцем.

На углу почти каждой нивы стояла распряженная телега с овсом. В стороне, немного поодаль, виднелись пахари. Впереди всех шел всегда сеятель. То был большею частию человек преклонный, отец или дед. К концам веревки, перекинутой через плечо сеятеля, прикреплялось решето или кузов, наполненный зерном: выступая покойным, сдержанным шагом вперед, старик то и дело опускал руку в кузов, простирал ее потом по воздуху и разом выпускал зерна, которые рассыпались всегда ровным полукругом. Постепенно удаляясь и исчезая в солнечном сиянии, сеятель уступал дорогу сыну или внуку, который управлял сохою и закрывал землею разбросанные зерна. За ним, звеня и подпрыгивая, тащилась борона с прицепившимися к ее зубьям комками косматых трав и корней. Лошадью правил обыкновенно мальчик. Иногда лошадь, если только она была старая, привычная к работе кобылка, шла сама собою: покорно следуя за хозяином, она изредка позволяла себе замедлять шаг, чтобы не смять жеребенка, который в нетерпении своем вытягивал шею под оглоблю и принимался сосать ее изо всей мочи.

Но этим еще не оканчивалось шествие: за каждой бороной летела в беспорядке стая галок, грачей, сизых и белых голубей. Они, казалось, совсем свыклись с людьми и лошадьми: то жадно припадая к земле, то взлетая на воздух, чтобы подраться за червячка, птицы следовали все время за бороною, нимало не пугаясь крика и свиста пахарей. Все поле усеяно было птицами.

**XV**

Несмотря, однако ж, на крик и свист пахарей, несмотря на звонкие голоса птиц и шумные их драки, несмотря на движение людей и лошадей, которые сновали взад и вперед по десятинам, — несмотря на щебетание мелких птичек, жужжание насекомых, фырканье лошадей, ржание жеребенка и пение жаворонка, этого дарового музыканта пахаря, несмотря на все это оживление и странное разнообразие голосов и звуков, все представлялось одним гармоническим целым. Широкий простор полей смягчал и сглаживал все звуки. Вся эта деятельная картина посева принимала вид чего-то мирного, какой-то кроткой радости и покоя!

Переходя от одной нивы к другой, я незаметно приблизился к опушке последней рощи. Тут оканчивалось поле. Последняя десятина склонилась даже несколько по скату, смотревшему на запад и на долину; защищенная от солнца рощею, которая обступала ее полукругом, она наполовину уже покрылась зубчатою тенью. Издали я увидел на ней одинокого пахаря; он работал совершенно один: сам сеял, сам боронил, сам управлялся с сохою. Я удивился еще больше, когда подошел ближе. Пахарь принадлежал к довольно многочисленному семейству. Особенно странным казалось мне, что с ним не было его отца. Первый весенний сев пользуется в простонародье особым почетом: им преимущественно управляют старики. Прошлый еще год я видел старика на этой самой ниве и в это самое время. Одиночество молодого парня было для меня необъяснимо: вся семья его слыла в околотке одною из самых заботливых, деятельных в полевых работах. Я оставил межу, пошел полем и через несколько минут был подле пахаря.

**XVI**

Его звали Савельем. Это был парень еще молодой, лет тридцати, высокий, смуглый, с правильным, продолговатым лицом и кудрявыми русыми волосами. На вид он не казался очень плотным; но расстегнутый ворот его белой рубахи выказывал широкую, крепкую грудь, уже тронутую загаром на том месте, где застегивался ворот; плечи его и мускулы рук богатырски круглились, выпучивая складки рубашки; через плечо его висел на веревке большой кузов, полный зерна, но он держал его с таким видом, как будто не знал, что такое тяжесть. Коричневые глаза его глядели спокойно, но прямо, откровенно. Солнце садилось за спиною пахаря, и вся фигура его, окаймленная золотыми очертаниями, красиво рисовалась перед рощей, потопленной голубоватою тенью. Я подошел к нему в ту минуту, как он забросил вожжи на спину лошади и готовился сеять.

— Что ж это старика-то не видно? где он? — спросил я.

— Старик дома, лежит, — возразил пахарь, делая шаг вперед.

— Что ж так?

— Все хворает, — сказал он.

Я осведомился, почему, наконец, брат не выехал в поле, но получил в ответ, что брат остался с больным отцом.

— Ему с самой весны все что-то нездоровится, — подхватил Савелий, — а в эти три дня наш старик совсем слег… Очень опасаемся: все думается, не встать ему; человек древний… долго ли? Вот уж третий день не ест, не пьет, слова не выговорит, все лежит, только что вот вздохнет иной раз. Господь знает что такое! — заключил он, отводя рукою кузов с зерном и потупляя голову.

Мне тотчас же представилось, что старика ударил паралич: старик был деятелен не по летам; с приходом весны деятельная природа его должна была, разумеется, воскреснуть. Вероятно, по обыкновению своему, он слишком горячо припал к работе; спеша уладить разом многочисленные дела, которые падают весною на простолюдина, он надорвал стариковские свои жилы: к этому, вероятно, примешалась также и кровь, разогретая усиленным трудом, а также и весенним временем, она вдруг расходилась и сковала параличом его ослабевшие члены. Я начал подробно расспрашивать сына обо всем случившемся.

**XV**

— Недели две назад, — начал было Савелий, но остановился, сделал несколько шагов вперед и принялся хлопать в ладоши, чтобы отогнать стаю птиц, которая расположилась в телеге и взапуски клевала зерно, — недели две будет, — подхватил он, возвращаясь назад, — мы ничего такого не чаяли, как словно даже лучше стало, отлегло, стал поправляться… весне, что ли, очень уж обрадовался, господь знает!… Первый-то день, как встал, до самого до обеда ходил все по полю, смотрел озими; только на поясницу очень жаловался: «Поясница, говорит, добре оченно одолела». Вечером прихожу я к нему на гумно, он и говорит мне: «Вот, говорит, Савелий, весна на дворе… — говорит так-то, а сам все кругом осматривается. — Весна, говорит, на дворе, наши пахать едут». Стал он тут на силу на свою жаловаться: «Сила, говорит, обманула меня… Знать уж, говорит, не придется мне нонче и попахать с вами…» — «Полно, говорю, батюшка! что напредки загадывать, бог милостив!» — «Нет, говорит, не пахать мне нонче с вами… сердце мое чует!» Подошел после того к соломе, маленечко по стоял, лег на нее, да вдруг как заплачет! индо жаль стало!… Никогда с ним этого не было. Так, почитай пролежал до самого до вечера; насилу уговорили в избу пойти. На другой день опять как будто стало легче, опять в поле ушел…

— Как же вы его не удержали? — перебил я.

— Кто его удержит! хлопотлив очень, заботлив! такой-то завистливый в работе, другого такого не найдешь! Мы и то говорили ему, и матушка говорила — ничего не слушает. Пришел это он домой, суетится, хлопочет, сам до всего доходит, борону чинить зачал; а уж куды: у самого руки-то так и дрожат; ходит по всему двору, по всем углам… точно взаправду чуяло его сердце, словно со всем домом ходит прощается… даже мы с братом подивились… Нет, видно, уж не встать ему!… — добавил Савелий после минутного молчания.

Я спросил о том, что произошло три дня тому назад.

— И бог знает, как сказать, что такое! — произнес Савелий, заботливо тряхнув головою, — пошел он к лошадям корму засыпать. Он ведь у нас до лошадей-то охотник: никто и не подходи окромя его! Стали это я да брат его уговаривать; видим, чуть на ногах держится, и матушка к нам пристала. Опять не послушал: «Ничего, говорит, авось, как промнусь, легче будет!…» Ничего ведь с ним не сделаешь!… Вот матушка и говорит нам, мне да брату: «Что-то, говорит, долго старик нейдет; поглядите-ка сходите, где он…» Пошли мы с братом; глянули под навес, а он там и лежит. Стали спрашивать: слова не добьешся, лежит словно мертвый; так без языка домой и принесли. С тех самых пор не вставал, трое суток без языка лежит!…

— Надо было тотчас же кровь пустить, как же вы не подумали об этом? — воскликнул я, нимало не сомневаясь, что старик остался бы жив, если бы приняты были своевременно меры.

— Брат и то два раза ездил, — сказал Савелий, — два раза кровь отворяли — не пошла только! должно быть, сильно уж она в нем запечаталась! Так уж, знать, господь уставил, что помереть ему надо! уж, видно, не топтать ему травы! — заключил он спокойным, но таким грустным голосом, что у меня екнуло на сердце.

С последними словами Савелий приложил ладонь к глазам в виде зонтика и пристально посмотрел в поле. Так как в последнее время слова его часто сопровождались этим движением, я невольно взглянул в ту сторону. На дороге, которая вилась по полю, я увидел бабу. Она быстро подвигалась вперед, иногда даже принимались бежать; она махала руками и направлялась прямо к опушке рощи.

Савелий между тем поставил наземь короб с зерном. Он не отымал ладони or глаз. По мере того, как баба приближалась, я заметил, что в чертах пахаря проступало беспокойство, брови его судорожно изгибались, ноздри вздрагивали; весь он превращался, казалось, в зрение. Немного погодя я мог различать черты приближавшейся женщины; это была жена Савелья.

**XVIII**

Она остановилась еще раз, чтобы перевести дух, и пустилась бежать быстрее прежнего,

— Савелий! Савелий! домой ступай! скорее ступай домой! — крикнула она, когда была еще на дороге.

Лицо ее было красно и выражало все признаки сильнейшего замешательства; крупные капли пота текли по разгоревшимся щекам вместе с слезами, которыми вымочены были ее глаза и ресницы; беспорядок в ее чертах и одежде показывал беспорядок и смущение чувств.

— Что случилось? — спросили мы.

— Батюшка отходит!… ступай прощаться!… — проговорила она, прижимая руки к груди и едва переводя одышку.

Я взглянул на Савелья. Он стоял с понурою головою и тяжело опущенными руками; с минуту стоял он, как громом пораженный. Можно было думать, что. говоря со мною за несколько минут о смерти родителя, он не верил в душе, чтобы она пришла так скоро… Heт такого очевидного горя, в котором человек не старался бы обмануть себя и не подкреплял бы себя надеждой. В простонародье существует даже поверье, что лучшее средство избавиться от несчастья заключается в том, что надо говорить о нем, как о предмете верном, несомненном. Меня поражало, однако ж, в пахаре его внешнее спокойствие: лицо его было скорее грустно-задумчиво, чем взволновано; только вздрагивающие веки и ноздри изменяли ему. Жена его между тем заламывала руки, била себя кулаком в грудь и разливалась-плакала.

— Ступай же скорей… совсем уж отходит… простись поди… чего ты стоишь? — говорила она, дергая его за рукав. — все наши в избе давно… за дядей Карпом поехали… пойдем скорей… я подсоблю с лошадьми управиться! — заключила она, поспешно направляясь к лошадям, щипавшим траву на меже.

Савелий несколько секунд оставался недвижен; наконец он медленно, как бы стараясь привести себя в память, провел ладонью по волосам, тяжко вздохнул, перекрестился и пошел за женою.

В движениях его, когда он припрягал лошадь в подводу, не было заметно малейшей суетливости: он не забыл ни одного ремешка, ни одной мелочи, хотя мысли его, очевидно, были далеки от дела. Он точно не видел и не слышал жены: во все время он слова ей не сказал, даром что она не переставала тормошить его, суетилась без толку, плакала и говорила без умолку, вычисляя, в скорбных выражениях, добродетели умирающего. Наконец воз был увязан, лошади взнузданы, соха перекинута сошником кверху, и они оставили ниву. Я пошел за ними.

Поля начинали покрываться красноватым блеском: одни межи ярко освещались солнцем, глядевшим между рощами, и тени от рощ захватывали иногда целые участки. Поля пустели. Кой-где на отдаленной пашне золотилось облако пыли, и из него выглядывала лошадь с сидевшим на ней пахарем, который возвращался с работы. Птицы несметными стаями кружились высоко в небе; но отставая постепенно друг от дружки, они опускались в рощи. Тени между тем быстрее бежали вперед, и вместе с тем с каждою минутой умолкала шумная деятельность поля.

**XIX. Пахарь**

Я знал отца Савелия еще в детстве. Но не одни воспоминания прошлого привязывали меня к нему и заставляли сожалеть о нем: можно сказать без преувеличения, что вместе с ним весь околоток лишался одного из самых почтенных, самых достойных стариков своих.

Иван Анисимыч, или просто Анисимыч (так звали старика), принадлежал к числу тех трудолюбивых, деловых пахарей старого века, которые, к величайшему сожалению, переводятся год от году. Особенно редко теперь встречаются в наших местах. По мере того как развивался у нас фабричный промысел, возделывание полей приходило в упадок; челнок, красная рубаха и гармония заметно сменяли соху, балалайку и лапти; вместе с тем заметно также исчезал тип настоящего, коренного, первобытного пахаря. В последние дни один Анисимыч исключительно, можно сказать, жил своим полем. Его не сокрушали даже неурожайные годы. Он продолжал пахать, боронить и сеять даже в то время, когда фабрики стали приносить очевидные выгоды против пашни. Но не упрямство управляло им, не закоснелая привычка к старому прадедовскому ремеслу; не управляли им также расчет и тонкая сметливость: старик нимало не соображал о том, что не век же продлятся неурожайные годы, не век же миткалю будет цена высокая! В уме его было меньше, может быть, хитрости и пронырства, чем у любого тридцатилетнего фабричного щеголя. Наконец, мне сказывали, он считал даже грешным делом вперед загадывать: «что будет, то все в руце господа; словесами либо думой тут не поможешь», говорил он. Старик не расставался с полями потому только, кажется, что свыкся с ними и шибко к ним привязался. Мудреного нет: он начал привыкать к ним еще в то время, когда покойная мать, отправляясь на жниво, носила его туда в люльке. А это было очень давно: Анисимыч доживал уже теперь восьмой десяток.

**XX**

С мыслию о смерти пахаря вся простая жизнь его, исполненная безропотного, неусыпного труда и детского простодушия, ясно представилась моему воображению; даже мелкие черты характера и ничтожные эпизоды его скромного существования, которые давным-давно были мною забыты, стали выясняться, как бы для того, чтобы в минуту смерти оставить о нем еще больше сожаления.

Меня особенно поражали в нем всегда необычайная кротость нрава, чистота помыслов и благочестие. Единственная вещь, быть может, которой не любил он, было миткалевое производство; но никогда, однако ж, не относился он с насмешкой, злобой или пренебрежением, когда речь заходила об этом предмете. Он, помнится, покручивал только седою головою и говорил: «Худое ремесло то, когда ничего не делаешь! Коли человек кормится фабриками, стало, и в них прок есть. Не хороша только жизнь фабричная — вот что похвалить нельзя; не хороши эти гулянки, да кабаки, да пищалки эти (так называл он гармонии). Что денег-то дают хозяева, — присовокуплял он обыкновенно, — за этим гнаться нечего: деньги только в соблазн вводят. Нашему брату денег не надобно; был бы хлеб святой. Есть хлеб, ни в чем, значит, недостатка не будет, потому хлеб всем надобен, всякому то есть человеку; на что хочешь можно променять его!… По-моему, пахота самое, выходит, первое дело! — заключал всегда старик, редко пропускавший случай поговорить о ремесле своем, когда был в духе, и стараясь при этом выставлять все его выгоды. — Да! пахота всякому ремеслу голова! Какое ни есть рукомесло, уж это все, значит, живешь при нем, как словно не в удовольствии: фабриканту ли какому или хозяину работаешь, им, примерно, и отвечать должон. Люди-то неравны — вот что! И хорошо сделаешь, всеми силами стараешься, да не угодишь; ну, сердце-то и кипит в тебе, все не в удовольствии… Ну, а с пахотой этого не бывает: сам себе работаешь, сам себе и отвечаешь: старался — значит, тебе же хорошо; поленился, не родилось ничего — сам, выходит, на себя и пеняй!… И живешь покойнее, потому, выходит, серчать не на кого: весь ты, как есть, во власти господней!»

Анисимыч доказывал на деле, как мало имел пристрастия к денежному барышу. Когда заводился лишний грош, он спешил принанять лишней земли, употреблял его на покупку какой-нибудь снасти или на поправку домашней, хозяйственной принадлежности. Во всем околотке дети, моложе даже восьми лет, занимались размоткою бумаги и доставали этой работой «на соль», как выражались отцы их. Анисимыч слышать не хотел об этом. Ребятишки его пользовались полной свободой бегать по полям и рощам. На четырнадцатом году, однако ж, старший брат Савелья ловко уже управлял сохою и никогда не портил борозды.

**XXI**

И не расстраивался как-то Анисимыч, несмотря на неурожайные годы, несмотря на добровольное лишение выгод, которые могли доставить ему фабрики. Соблюдая строгий хозяйственный порядок, живя просто, неприхотливо, он ни в чем никогда не нуждался; он находил даже способ быть запасливым. Часто даже доводилось зажиточным крестьянам занимать у него муку и зёрна на посев. В этих случаях, надо заметить, старик оказывался всегда очень «крепким». Человек беспутный, не» трезвый, не выманил бы у него куска льду зимою. Он не давал взаймы без разбора; но когда случалось ссужать соседа, то делал это, никогда не требуя вознаграждения. Благодаря промышленному состоянию края, в редкой деревне не сыщешь своего рода ростовщика. Мужик, застигнутый врасплох нуждою, берет у него овес, соль и деньги, с тем чтобы, по истечении условного срока, отдать в полтора раза больше. У нас, следовательно, простолюдин знаком очень хорошо с процентами. Старому пахарю часто предлагали отдать долг с залишком, лишь бы только смягчить его: он всегда отказывался. Ему выставляли на вид, что если б он брал лишки с должников, то в скором бы времени обогатился; но такие речи встречали всякий раз в пахаре самое полное равнодушие: он слушал их, как будто они вовсе не к нему относились. Ответ его был постоянно один и тот же:

— Я денег не даю, — говорил он, — денег у меня нет; я хлеб даю… коли есть; хлеб — дар божий!… Господь с нас процентов не берет, стало, и нам грех, не приходится… Хлеб — дело святое — не то что деньги; деньги от человека! он их выдумал, он их и делает…

Анисимыч слыл мастаком во всяком хозяйственном деле. Знание его, соединенное с услужливостью и необыкновенною терпимостью нрава, было причиной, что часто также прибегали к нему с просьбами другого рода. К нему ходили за советом. Встречалась ли соседу надобность купить корову и лошадь, Анисимыч должен был прежде осмотреть животное: приговор старика решал тотчас же дело. Требовалось соорудить новую снасть, купить топливо на зиму или лесу на избу, опять обращались к его опытности. Во всем, что касалось полевых работ, Анисимыча слушали, как оракула. Глядя на то, что он делал, делали и другие: он выезжал сеять — вся вотчина сеяла, он не косил — никто не брал косы, хотя бы даже минули Петровки.

— Анисимыч рассаду сажать выехал: стало, время! — говорили бабы.

**XXII**

И точно: лучше старика никто не мог знать о времени жнитва и посева, о свойствах земли и зерен. Более шестидесяти лет прожил он в полях; постепенно, год за год, сроднялся он теснее с почвой. В этом сродстве его с полями было что-то трогательное. Эти три-четыре нивы, которые пахали его отец, дед и прадед, обусловливали всю его жизнь: от них зависело благосостояние детей его и целого семейства; он возлагал на них все свои надежды и всегда с жаркою молитвой поручал их богу. Сколько забот и попечений они ему стоили, сколько тревог и радостей принесли они ему, сколько пота пролил он на них в эти шестьдесят лет своей трудовой жизни!

Но и они как будто понимали его; между ними установилось как словно тайное сочувствие. «Эх! — скажет, бывало, старик, оглядывая летом свое поле, — вот этот осминничек как славно обманул меня! Мало ли положил я в тебя зерен, — не жалел, кажется! и вспахал лучше быть нельзя! А колос-то жиденький, соломка тощая!… Обманул ты меня…» Проходит лето, жатва скошена, уж журавли летят в теплые стороны. Анисимыч снова в поле, снова идет к осминнику, который не оправдал его надежды. Старик крестится, с удвоенным старанием бороздит его вдоль и поперек, раза два лишних боронит и вспахивает, прилаживает лишний камень на борону. «Ну, теперь ладно, надо быть; не надо бы, кажется, теперь обманывать! — скажет он, обтирая рукавом крупные капли пота, — так запахано, комушка нет! как пух землица! Славная будет постелька для зернышка!…» И в самом деле на другое лето старик не натешится, глядя на свой осминник, покрытый из края в край частым, высоким стеблем, который плавно колышется на ветре, шумя тяжелыми гроздьями золотого овса. Эти три-четыре нивы были для него целым миром, в котором жил он всеми своими помыслами, всею душою. Мысли его редко переносились за предел зеленеющих межей, окружавших его поле.

**ХХIII**

Но и в этом тесном горизонте научился он многому. Премудрость божия не так же ли бесконечно поразительна в стебле травы, как и в громадных явлениях природы! Довольно было старому пахарю прожить свой век под этим узеньким клочком неба, между этими бедными холмами и рощами, чтобы приобрести опыт и значение, которые составляют мудрость сельского жителя. Не этот ли опыт и значение помогали старику поддерживать благосостояние семьи и тех окружающих, которые хотели слушать его советов?

— А что, Анисимыч, не пора ли овес сеять? — вымолвит сосед, выходя весною за ворота, чтобы погреться на солнце. — Вишь, теплынь какая стала, даже пар от земли пошел!

— Нет, погоди, — скажет старый пахарь, — ходил я нонче в поле, глядел: лист что-то мал на дубках, не совсем еще развернулся, ждать надо холоду, стало быть, может статься, еще будет и сиверка: овес этого не любит! Сей его, как лист дубовый развернется в заячье ухо: тогда и сей, потому, значит, земля тогда готова, за свой род принялась.

У него на все были свои приметы. Они, надо полагать, постоянно оправдывались в продолжение целых шестидесяти лет: он слепо им верил! Раз, помнится мне, всю весну лили беспрерывно дожди; земля в полях размокла, как кисель; кругом стали опасаться за корень ярового хлеба. Не унывал один Анисимыч. А между тем ему более, чем всякому, следовало бы тревожиться: поле составляло все его богатство; но он оставался покойным: он утвердительно говорил, что лето будет вёдреное и все высушит, все поправит. Другого объяснения не было, как то, что в день апостола Якова (30 апреля) солнце взошло в ясном, безоблачном небе, и весь день не видно было ни одной тучки. Старик присоединял к этому еще другую примету: он наблюдал вскрытие реки; река вскрылась рано и дружно, а, по словам его, это служило несомненным знаком благополучного лета. Предсказание его оправдалось как нельзя лучше. Основываясь на приметах, он почти всегда верно угадывал о злой и счастливой судьбе, которая ожидала поселянина в поле. Помня день, когда начал завязываться первый колос, он безошибочно высчитывал день в день все периоды произрастания хлеба и всегда верно определял срок жатвы.

— Что ты, Анисимыч, на луг-то уставился? — шутливо замечал сосед. — Лошадей, что ли, высматриваешь?

— Нет, на гусей гляжу.

— А что?

— Да все что-то на одну ногу становятся: надо быть, скоро снежок выпадет!… Вон также и журавли: вишь, как низко летят. По всему сдается, рано нонче зима станет.

Иной раз радостно ожидал он дружную, теплую весну. «Был я нонче в поле, — говорил он, ни одного грача не видно; а уж давно прилетели! Прямо, значит, на гнезда на свои сели: тепло, значит, чуют, торопятся детей выводить». Стоит иной раз засуха, вся деревня нос повесила; Анисимыч ходит, бывало, всех ободряет. Полагаясь на какую-нибудь примету, он весело поглядывает на нивы, палимые солнцем. «О чем вы? — скажет, бывало, — и дождик, и ветры, и солнце, — все это в руце божией. Он знает, что делает, у него все сосчитано, все дни и весь год уравнен: не пропадет зря ни единой капельки во весь год, не колыхнет ветер стебля, коли не ко времени. Он знает лучше, что надобно…» В истинно скорбное время, когда солнце спалило хлеб, или град скосил дотла дозревающую рожь, он никогда не отчаивался, никогда не падал духом: им овладевало тогда какое-то сосредоточенное, задумчивое спокойствие. «Тут ничем не поможешь, — были всегдашние слова его, — надо бога просить, чтобы на будущее время помиловал…» И снова принимался он с прежней доверенностью делать свои наблюдения.

Одним словом, приметы эти наполняли жизнь его, они управляли каждым его действием: не брался он ни за какое дело, не посоветовавшись сначала с знамениями, которые природа, как нежная мать, заботливо рассыпает по лицу своему в назидание человеку, отдавшему ей свое существование. Не голос ли это божий слышится нам в этих знамениях? не потому ли и жизнь старого пахаря протекала так беззаботно и мирно, что так покорно слушался он этого таинственного голоса?…

**XXIV**

Нет, как бы сильно ни чувствовали мы природу, она никогда не может говорить нам столько, сколько скажет пахарю. Так уж судьба поставила нас, что между природою и нами нет и быть не может близкой, родственной связи. Мы только мимоходом восхищаемся ее красотами или вдаемся по поводу ее явлений в сухие теории и сухие исследования: в обоих случаях не является ли она перед нами книгой, в которой мы любуемся картинками но не разбираем текста?

Простолюдина мало трогают красоты ее: он не размышляет, как мы, о ее таинствах (размышлять, судить о чем-нибудь, не значит ли отрешать уже себя некоторым образом от обсуждаемого предмета, считать себя если не выше его, то хотя исключением?). Пахарь сродняется с природой от колыбели; он покоряется без размышления ее законам, он живет ее жизнью; его судьба, радости и горести — все в руках ее. И природа, как будто сознавая детское бессилие пахаря и тронутая его зависимостью, постепенно бросает к ногам своим таинственные свои покровы; она открывает ему грудь свою и знакомит его с собою. Величаво-молчаливая с нами, гордыми мира сего, она говорит пахарю и распускающимся листом, и восходом солнца, говорит ему мерцанием звезд, течением ветра, полетом птиц и тысячею-тысячею других голосов, которые для нас, гордых мира сего, останутся навсегда языком непонятным.

Тому, кого занимали только расчеты по поводу сельского хозяйства и сельской жизни, тому никогда не понять поэзии, которая заключена в этом родстве пахаря с землей и природой. Есть вещи, светлая сторона которых открывается только сердцу. Если находятся люди, которые чувствуют эту поэзию, стало быть, она существует; но почему не предположить, что душе пахаря сознательно доступна хоть одна сторона ее? Человек, который не может ни дать отчета в своих впечатлениях, ни выразить их словами, конечно, кажется беднее одаренным того, кто обладает такими способностями; по следует ли заключать, что он ничего не чувствует? Почему знать, о чем думает пахарь, когда, выйдя в поле на заре ясного весеннего утра, оглядывает он свои нивы? Неужели улыбка на лице его и радость на сердце служат только выражением грубого чувства и уверенности в будущем барыше и выгодах? Отчего же, глядя на нивы свои, не может он припоминать и осенний вечер, в который засевал их, и теплую молитву, с которой поручал их тогда богу, и семейную радость, когда омыло их первым дождиком, и не стократ счастливые дни, когда увидел он, что эти голые поля, поднятые его рукою, начинали покрываться частою, сочною зеленью?… Что же такое поэзия, если не живое представление мирных минувших радостен?…

**XXV**

Анисимыч никогда не был ни старостой, ни даже сотским; он, как особенной милости, просил всегда, чтоб избавили его от всякой почетной должности. При всем том его почитали и слушали больше даже, чем начальников, которые избирались миром.

В деревенском быту, несмотря на внешние грубые формы, нравственные качества так же хорошо взвешиваются, как и в образованном сословии; влияние нравственной личности так же здесь заметно и сильно, как и там. Здесь точно так же взвешены права на уважение каждого лица и семейства. В каждом углу рассчитывают поступки каждого, разбирают, кто с кем в родстве, почему лучше отдать дочь замуж в такой-то дом пли взять такую-то для сына, и все это не в одном денежном смысле. Общественное мнение господствует над всеми и управляет поступками каждого более, чем думают.

Не было примера, чтобы мирская сходка обходилась без Анисимыча. А между тем он стоял в каком-то исключительном положении, как пахарь в фабричной деревне, не был ни особенно богат, ни силен, ни криклив; но его слушали, и совет его служил всегда последним, решительным приговором. То же самое было во всех крайних, запутанных делах и даже в семейных распрях: что скажет, бывало, старик, то и свято. Мне ясно представляется теперь один случай.

Делились два брата. Всякий, кто жил в деревне, знает, с какими трудностями сопряжены дележи такого рода. Как разделить, например, одну избу между двумя человеками? Не разрубить же ее пополам, в самом деле! Как уравнять ценность лошади с несколькими овцами или ценность хозяйственных орудий с домашнею утварью? Дележ между братьями не подвигался к концу, несмотря на деятельное участие мира и конторы. «Позвать разве Анисимыча: что он скажет!» — заметил кто-то. Братья и все присутствующие выразили согласие. Послали за стариком, и немного погодя он явился. Сначала он долго отговаривался, говорил, что, что бы ни сказал он, один из братьев все-таки останется не в удовольствии, и проч.; но к нему приступили решительнее и потребовали ответа. «Ну, во имя отца и сына и святого духа!» — сказал он тогда, набожно осеняя себя крестным знамением. (Он объяснил потом движение это тем, что «просил господа помочь ему судить по-божески, по-справедливому, а не по-человеческому»). Затем он решил спор таким образом: все хозяйство и весь скот следовало разделить пополам, как «приобретенное»; но хлеб — дар божий! бог печется о каждом человеке и посылает хлеба каждому сколько нужно; хлеб надо делить, следовательно, по душам; у одного брата три души, у другого восемь: так последнему больше надо.

Так и сделали.

**XXVI**

В жизни пахаря, которая протекала так же спокойно и тихо, как песок стеклянных часов, было, однако ж, одно сильное потрясение. На семью его пала рекрутская очередь. Его не предупредили в этом, слова не сказали: думали сделать лучше. Но раз ночью пришли к нему в избу и захватили одного из сыновей его, первого, который попался. (Говоря потом об этом, он сказывал, что сердце его в эту минуту сделалось вдруг тяжелым, как пуд, и словно окаменело.) Но случай этот его поразил так сильно только по своей неожиданности. Придя в себя, старик побежал в контору и просил, чтобы ему самому предоставили выбор детей. На другой день он отвез всех трех сыновей в город.

До сих пор еще многим лицам, присутствовавшим на ставке, памятна сцена, когда после произнесения очередного имени в дверях присутствия явился вдруг седой, шестидесятилетний старик. «Ваше благородие! — сказал он, обращаясь ко всем членам присутствия, — очередь за моею семьею. У меня три сына… пытался — не могу выбрать: все равно дороги!… Соблаговолите позвать всех трех… выбирайте уж лучше сами!…» В комнату вошли три парня, один краше другого. Двое стали по правую руку отца, один по левую. Старик обнял поочередно всех трех и произнес, положив им сперва руку на голову: «Все милы!., все дороги!., все хороши!…» Тут дыхание как бы стеснилось в груди его; он остановился, покачал головою, тяжко вздохнул и вдруг залился слезами. Присутствующие, тронутые его положением, стали его успокаивать. Он попросил позволения кинуть жребий. Вынув из кошелька три медные гроша, он подал их детям, внимательно потом осмотрел каждый грош, положил на каждом знак зубами и велел бросить их в шапку.

«Вам, ваше благородие, — сказал он, обратясь опять ко всем, — вам, я вижу… вы о них также жалеете… прикажите уж лучше позвать какого ни на есть человека… который не видал меня с ними… Пускай уж лучше он жребий вынет…» Позвали солдата… Старик сказал ему: «Как вынешь жеребий, никому не показывай… мне отдай…» Жеребий вынут. Старик взял грош у солдата, отошел к окну, взглянул на него, дрогнул, но тотчас же оправился, перекрестился и возвратился к детям. «Вася, — вымолвил он, обратись к младшему, — Вася… голубчик мой! подойди ко мае…» — Он снова положил ему руку на голову, с минуту глядел на него молча и наконец произнес: «Ты был… да, был ты мне хорошим сыном… завсегда хорош был… будь же хорошим солдатом царю нашему…» Он обнял его, благословил и, закрыв ладонью лицо, пошел к двери, плача каким-то детским плачем.

**XXVII. Кончина**

Припоминая прошлое и стараясь представить себе как можно яснее почтенную личность старого пахаря, я незаметно миновал поле. Я даже удивился, когда увидел себя вместе с Савельем и его женою на скате горы, откуда открывались деревни и окрестность.

Солнце приближалось уже к горизонту. Долина наполнялась тенью; там только, где местность в долине несколько подымалась или где возвышалась роща, выступали яркие пятна света, которые казались тем ослепительнее, что их окружал голубоватый сумрак. Верхушки одиноких дерев, разбросанных кое-где по долине, принимали издали вид золотых островков, плавающих в синем море. Посреди пестрой смеси света и тени особенно сильно освещалась улица; лучи солнца прямо били на один бок ее, превращая в огонь окна избушек: в каждой избе топилась как будто печь или пылал костер. Я уже сказал, что с этого ската деревня виднелась как на ладони. Я заметил с первого взгляда, что там происходило необыкновенное оживление: черные точки поминутно перебегали на улицу; длинные тени, бегавшие заодно с людьми, обманчиво усиливали движение. — Скорей… скорей!… — вымолвила жена Савелья, не отрывая глаз от деревни.

Она хотела еще что-то прибавить, но выразительно указала вперед рукою и побежала к мосту. Савелий не замечал ни движения жены, ни ее голоса, ни того даже, кажется, что она нас оставила. Голова его была по-прежнему опущена на грудь; глаза, с дрожащими над ними бровями, притупленно смотрели на землю. В задумчивой фигуре его, как словно машинально идущей по дороге, заметно было присутствие одной только мысли, которая отталкивала все, что до нее ни касалось. Он ускорял, однако ж, шаг по мере приближения к цели.

Мы вошли в деревню в ту самую минуту, как в околицу вгоняли стадо. Оно бежало к нам прямо навстречу и еще больше усиливало движение, которое я заметил издали. Бабы, ребята и девчонки поминутно перебегали нам дорогу: их точно держали до сих пор взаперти и вдруг разом всех выпустили. Все стремились к освещенной половине деревни и направлялись к одной избе, у ворот которой стояла уже порядочная толпа. Рев, блеянье, топот, крики старух, которые загоняли коров и овец, не позволяли мне расслышать говор народа, толпившегося у двери избы; раз только с той стороны послышался мне как будто глухой сдавленный вопль нескольких голосов.

— Савелий! брось лошадей-то! старик умирает! — быстро проговорила какая-то баба и еще быстрее пронеслась мимо.

Савелий постепенно ускорял шаг. Из избы явственно уже теперь приносились вопль, крики и голошенье; когда отворяли дверь, можно даже было разбирать слова и узнавать голоса. В толпе, теснившейся у избы, все горячо и торопливо говорили. Когда мы приблизились к воротам, все смолкли и обратили любопытные глаза на Савелья.

Под навесом ворот жались полдюжины овец и две коровы; в общей суматохе они были забыты хозяевами. Савелий остановил лошадей, сделал шаг, с очевидным намерением отворить ворота, снова вернулся к лошадям, начал было их разнуздывать, но отчаянный вопль, вырывавшийся из избы, отнял, видно, у него последнюю твердость: руки его опустились, он тоскливо замотал головою и пошел к низенькой боковой двери, которая вела в сени. В толпе с особенною какою-то торопливостию дали ему дорогу.

**XXVIII**

Мне никогда не случалось присутствовать при последних минутах умирающего. Смерть действует особенным страхом, когда дело идет о знакомом человеке. Мимо чувства сожаления, возбуждаемого сознания вечной разлуки, душа в этих случаях невольно содрогается при мысли, что существо, лежащее теперь бездыханным трупом, вчера еще говорило с вами; я слышал звук его голоса, он и теперь еще явственно как будто раздается в ушах моих; я делил с ним мысли и чувства, видел, что жизнь наполняла его до тончайшей фибры, — и вдруг все это смолкло, остановилось, кончилось навсегда, и никогда, никогда больше не возобновится! Жутко…

Я окончательно смутился, войдя в сени, битком набитые плачущим народом. Посреди протяжных причитаний выходил иногда вопль, который, как ножом, надрезывал сердце. В избе было еще теснее: не было решительно возможности подвигаться вперед. Бабы с грудными младенцами на руках стояли даже на лавках; печь и полати усеяны были головами, все жались и тискались. Вопль был так силен, что с трудом можно было заставить понять себя, говоря громко на ухо. В толпе то и дело попадались распухнувшие красные лица, с зажмуренными глазами и раскрытыми ртами, из которых вырывались пронзительные крики. Большая часть баб стояла крепко обнявшись: положив голову на плечо друг дружке, они мерно раскачивались под такт унылого, размеренного голошенья.

Мне тогда не был еще знаком обычай нашего народа спешить наполнить избу. умирающего и выразить скорбными возгласами то уважение, которое имели к нему при жизни. В первую минуту, признаюсь, мною овладела даже досада. «Чего им здесь надо, — подумал я, — чего они не видали? Человек не успел умереть, и вот все набились в избу и кричат во все голоса, что он умер! Ему и без того, быть может, тяжко расстаться с жизнию, а они не перестают напоминать ему о прожитом счастии, об осиротелом семействе!» Но почти в ту же секунду мне пришла следующая мысль: поспешность эта выразить свое отчаяние, поспешность, часто преждевременная и с первого взгляда возмутительная, не показывает ли, как мало вообще народ избалован надеждой? Он не привык обманывать себя успокоительными мечтаниями; он отдается своему горю без размышления, и не потому ли кажется оно ему неизбежным. Я окончательно примирился с воплем, раздававшимся подле умирающего, когда вспомнил, сколько было у него близких и родственников: они, конечно, не могли достаточно оплакать его кончину.

До сих пор, сколько я ни старался пробраться вперед, передо мной мелькали только головы, и впереди виднелся темный угол избы, в котором тускло мерцало пламя желтой восковой свечи, прилепленной к образу. Прежде всего я различил колени умирающего. Меня с ног до головы обдало холодом: сам не знаю отчего, но мне не так тягостно было увидеть его самого, как увидеть эти недвижные, выступающие острым углом колени. В ногах пахаря сидела жена его, древняя старуха, как и он сам. Обняв руками шеи двух замужних дочерей, которые рыдали, как безумные, она бессильно свешивала голову то к одной на плечо, то к другой. Платок, покрывавший ей голову, бросал густую тень на лицо ее; изредка слабый стон вырывался из впалой груди старушки. Она сама как будто умирала. Подле стоял старший сын, такой же видный мужчина, как Савелий, но только смуглее его. Прислонясь правым локтем в стену, закрыв правою ладонью лицо, он был недвижен, и только тяжкие вздохи приподымали могучую грудь его. По другую сторону находился Савелий. Он стоял на коленях; кудрявая голова его лежала на обнаженной руке, вытянутой вдоль соседней лавки. Все убивались над стариком, как над бесчувственным трупом покойника; а между тем предмет их скорби боролся еще с жизнию; глаза его были закрыты, но грудь время от времени высоко еще подымалась.

**XXIX**

Он лежал под образами, на лавке, устланной соломой. Голова его покоилась на снопе овса. Длинные серебристые волосы старика не раскидывались в беспорядке, как у человека, который судорожно, отчаянно борется со смертию: они спускались мягкими волнистыми прядями вдоль худощавых щек, покрытых мелкими складками и тем смуглым, черствым отливом, который накладывает жизнь, проведенная на воздухе во всякое время года: в холод, зной, дождь и ветер.

Я стоял в двух шагах и мог различить мельчайшие черты почтенного лица его. Оно поражало своим контрастом с лицами, меня окружавшими: сколько истинной, неподдельной скорби и безотрадного отчаяния виднелось на последних, столько же спокойствия написано было в чертах умирающего старца; нет, никогда потом, нигде и никогда не встречал я такого тихого, такого кроткого выражения! Ясно, между тем, видно было, что смерть не отняла еще у него полного сознания: мысль как бы просвечивала сквозь закрытые веки его и озаряла черты его; он должен был слышать все, что вокруг происходило: слышал вопли родных, слышал страшные слова прощанья, слышал раздиравшие сердца возгласы двух дочерей, умолявших его не покидать их, пожить еще с ними; слышал глухой плач Савелья и горькие всхлипыванья старшего сына; но мысль, оживлявшая черты его, не принадлежала уже, видно, окружавшему его миру. Ни одна морщинка не показывала душевной, внутренней тоски. Он как будто засыпал в поле после трудового утра и, отходя постепенно ко сну, сладко прислушивался к пению жаворонков, которые заливались в вышине небесной…

«Так вот смерть!» — думал я, пристально всматриваясь в лицо его. Я видел смерть в первый раз; но мне страшнее было слушать вопли, страшнее был вид живых лиц, обезображенных отчаянием, чем вид самой смерти. Страшный, ужасающий образ, который представлялся моему воображению всякий раз, когда я думал прежде о смерти, исчезал постепенно, по мере того, как я всматривался в кроткое, покойное лицо пахаря. Мне стало казаться, что в том трепетном мерцании, которое разливала свечка над изголовьем умирающего, стоит не страшный, ужасающий образ — нет! но ясно улыбающийся ангел, который ласково простирал вперед руки и тихо двигал белыми лучезарными крылами…

**XXX**

В одну из тех минут, как я напрягал зрение, чтобы уловить на лице пахаря отражение окружающей его скорби, в дальней части избы нежданно стихли вопли. Послышалась давка, и несколько женских голосов прокричало: «Пропустите, касатики! пропустите дедушку Карпа… дайте пройти! проститься хочет!…» Я посторонился вместе с другими и дал место седому, низенькому старичку.

Это был родной брат пахаря. Хотя между летами того и другого считался только год разницы, но Карп смотрел уже совершенной развалиной. Он давно оставил полевую работу, перемогался со дня на день и в последнее время проводил жизнь на печке, изредка выходя на завалинку, чтобы погреться на солнце. Крошечное лицо его изрыто было морщинками; каждый трудовой день провел как словно на нем черту свою. Ноги его дрожали; руки тряслись; голова, на которой оставались по бокам редкие клочки волос, ходила из стороны в сторону. Он, очевидно, дрожал не от волнения, но от дряхлости.

В тусклых глазах, устремленных на брата, не было пока заметно замешательства. Он подошел ближе, медленно перекрестился и сказал:

— Эх, Иван, Иван! чаял я, поживешь еще с нами…

Рано, Иван, ты нас покидаешь!

Страшный вопль двух дочерей умирающего перебил старика. Они нежданно оторвались от матери, которая бессильно опустилась мужу на ноги, и бросились обнимать отца. Савелий и старший брат его громко зарыдали. Тихая мысль, освещавшая лицо умирающего, стала как бы потухать. В чертах его, дышавших спокойствием, изобразилось вдруг тяжкое томление. Голоса родных точно в первый раз нашли дорогу в его сердце и возвратили его на минуту к действительному миру. Глаза его остались, однако ж, закрытыми и грудь по-прежнему подымалась ровно и медленно.

— Бабы… полно вам!… — проговорил Карп, прнтро-гиваясь к племянницам. — Савелий, Петр, вы бы их удержали!., ему и без того жаль с вами расставаться… пуще воем-то душу мутят… оставили бы… будет еще время убиваться-то!… — Петр и Савелий подняли сестер и отошли к ногам отца. Лицо умирающего постепенно вытягивалось и принимало грустное выражение. Грудь его приподымалась теперь едва заметно.

— Эх, брат Иван, — произнес неожиданно Карп, и, я заметил, голос старика задрожал сильнее, — в какое время ты нас покидаешь!… Встань, Иван!… Погляди-ка поди, весна на дворе; наши ведь все пахать поехали…

При этом каждая черта умирающего наполнилась вдруг выражением страшной тоски. Веки его, начинавшие уже углубляться, дрогнули, слегка раскрылись в углах и пропустили две крупные слезы. Они медленно потекли по морщинам и, видимо, казалось, застывали на холодевших щеках его… Светлые струи ручья многие годы оживляли долину. Тихо журчали они, отражая и небо, и зелень, и мирные окрестные виды; но время открыло скважину в русле: ручей заметно мельчает; тускней и тускней делается его поверхность, и наконец он вовсе пропадает, оставив темное земляное дно, в котором не блеснет уже никогда луч солнца!

Так и жизнь невидимым путем своим покидала старого пахаря. Грудь его подымалась все реже и реже; мертвенная бледность покрывала черты его. До сих пор душа все еще как бы носилась над чертою, разделяющею земную жизнь от загробной. Она тревожно, хотя постепенно слабее и слабее, прислушивалась к воплям и крикам; но вот стала она переходить роковую черту… Лицо старца снова стало приобретать спокойствие и ясность, и, казалось мне, в трепетном мерцаний, разливавшемся над изголовьем пахаря, снова являлся улыбающийся ангел, который ласково простирал к нему руку и тихо двигал белыми лучезарными крыльями…

**XXXI**

Прошло два дня. Я шел уже отдать последний долг пахарю.

Не помню, чтобы было когда-нибудь такое тихое, такое ясное утро. Ни одна тучка не омрачала неба. Какой-то мягкий, янтарный блеск разливался по всей окрестности, и не было, казалось, такого затаенного уголка, куда бы не проникал луч солнца; а между тем ранний час утра поддерживал прохладу в воздухе и сообщал свежесть полям, холмам и рощам. Роса сверкала повсюду. Листья были недвижны. Изредка под тем или другим деревом раздавался шорох и слышалось, как била по листьям катившаяся капля росы. Но как звонко зато распевали птицы, каким жужжаньем, писком и чиликаньем наполнялся недвижный воздух! Все, что имело только крылья, собралось как словно праздновать в это утро. Кузнечики, как искры, сыпались под ногами, и жаворонки неумолкаемо заливались по обеим сторонам дороги, которая вела из дома в деревню.  
Но зрелище, ожидавшее меня там, сильно противоречило веселой, улыбающейся картине утра. Я вошел в деревню, когда совершался вынос. Я увидел густую толпу народа и над нею, несколько дальше, белую верхушку гроба, которая сияла на солнце и медленно раскачивалась из стороны в сторону, как бы посылая прощальные поклоны избам и зеленеющим нивам. Погребальное шествие, сопровождаемое толпою и подводами, скрип которых заглушался рыданиями сидевших в них баб, стало опускаться к лугу. На нем изгибалась дорога, которая вела к приходу.  
Достигнув точки, где начинался скат к лугу, я встретился с одним из самых древних стариков деревни. У пего, как видно, недостало сил идти дальше за гробом; он провожал его глазами и крестился. — Прощай, Анисимыч! Прощай… Скоро все там будем! — сказал он, махнул рукою и медленно побрел к избам.  
Прежде чем подняться в гору, скрывавшую приходское село, погребальное шествие остановилось. На этом месте, по обеим сторонам дороги, кругом покрытой мелким кустарником, возвышаются два столетних тополя: они обозначают наши границы с соседскими землями. Здесь обыкновенно в последний раз прощаются с покойниками. Вопль и голошенье, заглушаемые говором, раздались сильнее. Народ тесно жался вокруг гроба, опущенного на землю. Каждый хотел проститься с пахарем. Я подошел ближе. Но мне не удалось уже видеть почтенное лицо старца: оно было закрыто; наружу выставлялись одни смуглые, загоревшие руки его. Каждый из присутствовавших подходил к гробу, кланялся в землю и целовал эти смуглые, честные пальцы, которые в продолжение семидесяти лет складывались только для труда и для крестного знамения. Наконец обряд прощанья кончился. Гроб, приподнятый на плечи носильщиков, снова озарился солнцем. Родственники, истомленные продолжительными слезами и скорбию, усажены были на подводы. Мы стали подыматься в гору, постепенно удаляясь от толпы, которая стояла у тополей и провожала нас глазами до тех пор, пока гроб не совершенно скрылся из виду.

**ХХХII**

К полудню я возвращался один по той же дороге. Окрестность так же радостно сияла; птицы так же весело пели. Но веселость, царствующая иногда в природе, тем именно разнится от веселости города, что она не отуманивает головы, не развлекает мыслей. Напротив, ясность, вас окружающая, как бы передается вашей душе и вашим мыслям.

Когда я пошел к двум тополям, свидетелям прощального обряда, там давно уже никого не было. Под листьями, палимыми солнцем, жужжали только насекомые; луга, холмы и рощи погружены были в сонливое молчание жаркого майского полудня. Пройдя еще несколько шагов, я увидел в кустах, растущих вправо от дороги, пук соломы и на нем черепки глиняной кубышки. То были последние вещественные предметы, которые напоминали усопшего. Клок соломы служил ему последним ложем; из кубышки черпали воду, которою обмыли его похолодевшее тело.

Я не знаю, что лежит в основании обычая оставлять эти предметы на дороге, по которой в последний раз проносили покойника; в обычае этом есть, однако ж, что-то трогательное… Грустно настроенный посреди сияющей природы, я долго стоял под тополями.

«Вот, — думал я, глядя на черепки и солому (эти последние и уж точно ничтожные, бренные памятники столь долгой жизни), — вот и месяца даже не переживут они: ветер разнесет солому, прохожий растопчет черепки, и никакого даже видимого следа Не останется от старого пахаря!…»

Но что до этого! Стоит ли думать об этих бренных, вещественных, грубых напоминаниях! Не оставил ли пахарь другого, более прочного воспоминания!… Существует еще что-то лучше памяти, основанной только на вещественных знаках. Есть память другого рода: она основана на душевных свойствах, на нравственных заслугах оплакиваемого человека. Такая память — высшая поэзия нашего нравственного мира, и старый пахарь вполне ее заслужил. Кроткий, смиренный образ его — оболочка души прекрасной и чистой — останется, навсегда останется окруженный любовию и уважением тех, кто знал его, жил с ним и умел понимать его. Не лучшая ли это награда, и не самый ли это яркий, прочный след, который можно после себя оставить?…

Да, старый пахарь, несмотря на то, что жизнь его казалась нам, гордым мира сего, такою ничтожною и мелкой, старый пахарь заслуживал такую память! Благочестивая жизнь его прошла в труде беспрерывном, неусыпном. Он, пока жил, сделал все, что мог, и сделал все, что должен был сделать! Нет нужды и не место разбирать здесь его общественное положение, смиренную сферу его деятельности и скромные результаты этой деятельности. Нравственный смысл нашего рассказа исключает понятие о личности: здесь дело идет собственно о «человеке». Целью нашей было сказать, что с точки зрения высоконравственного смысла тот только «человек», кто в сфере, предназначенной ему судьбою, недаром жил на свете, кто честно и свято исполнял свои обязанности, кто сохранил чистоту души, про которого можно сказать без лести и пристрастия, что он сделал все, что мог и что должен был сделать!

Пускай же истлевает солома, служившая старцу последним ложем, пускай глиняные эти черепки превращаются в прах, как и кости его: из памяти моей, как из памяти всех смиренных людей, которым он сам, не подозревая того, служил советом, образцом и примером, — долго не изгладится честная личность старого пахаря!

***Резерв на вариативную часть программы – 3 ч.***

**РАЗДЕЛ 2. РУССКИЕ ТРАДИЦИИ (9 ч)**

**Праздники русского мира (5 ч)**

Пасха

**К. Д. Бальмонт** «Благовещенье в Москве».

Благовещенье и свет,  
Вербы забелели.  
Или точно горя нет,  
Право, в самом деле?

Благовестие и смех,  
Закраснелись почки.  
И на улицах, у всех  
Синие цветочки.

Сколько синеньких цветков,  
Отнятых от снега.  
Снова мир и свеж, и нов,  
И повсюду нега.

Вижу старую Москву  
В молодом уборе.  
Я смеюсь и я живу,  
Солнце в каждом взоре.

От старинного Кремля  
Звон плывет волною.  
А во рвах живет земля  
Молодой травою.

В чуть пробившейся траве  
Сон весны и лета.  
Благовещенье в Москве,  
Это праздник света!

**А. С. Хомяков. «Кремлевская заутреня на Пасху».**

В безмолвии, под ризою ночною,  
Москва ждала; и час святой настал:  
И мощный звон промчался над землею,  
И воздух весь, гудя, затрепетал.  
Певучие, серебрянные громы  
Сказали весть святого торжества;  
И, слыша глас, её душе знакомый,  
Подвиглася великая Москва.  
Всё тот же он: ни нашего волненья,  
Ни мелочно-торжественных забот  
Не знает он, и, вестник искупленья,  
Он с высоты нам песнь одну поёт, —  
Победы песнь, песнь конченного плена.  
Мы слушаем; но как внимаем мы?  
Сгибаются ль упрямые колена?  
Смиряются ль кичливые умы?  
Откроем ли радушные объятья  
Для страждущих, для меньшей братьи всей?  
Хоть вспомним ли, что это слово — братья —  
Всех слов земных дороже и святей?

**А. А. Фет. «Христос Воскресе!» (П. П. Боткину).**

«Христос воскресе!» — клик весенний.  
Кому ж послать его в стихах,  
Как не тому, кто в дождь осенний  
И в январе — с цветком в руках?

Твои букеты — вести мая,  
Дань поклоненья красоте.  
Ты их несешь, не забывая  
О тяжком жизненном кресте.

Но ныне праздник искупленья,  
Дни обновительных чудес, —  
Так будь здоров для поздравленья,  
Твердя: «Воистину воскрес!»

**А. П. Чехов. «Казак».**

Арендатор хутора Низы Максим Торчаков, бердянский мещанин, ехал со своей молодой женой из церкви и вез только что освященный кулич. Солнце еще не всходило, но восток уже румянился, золотился. Было тихо... Перепел кричал свои: «пить пойдем! пить пойдем!», да далеко над курганчиком носился коршун, а больше во всей степи не было заметно ни одного живого существа.Торчаков ехал и думал о том, что нет лучше и веселее праздника, как Христово воскресенье. Женат он был недавно и теперь справлял с женой первую Пасху. На что бы он ни взглянул, о чем бы ни подумал, всё представлялось ему светлым, радостным и счастливым. Думал он о своем хозяйстве и находил, что всё у него исправно, домашнее убранство такое, что лучше и не надо, всего довольно и всё хорошо; глядел он на жену — и она казалась ему красивой, доброй и кроткой. Радовала его и заря на востоке, и молодая травка, и его тряская визгливая бричка, нравился даже коршун, тяжело взмахивавший крыльями. А когда он по пути забежал в кабак закурить папиросу и выпил стаканчик, ему стало еще веселее...— Сказано, велик день! — говорил он. — Вот и велик! Погоди, Лиза, сейчас солнце начнет играть. Оно каждую Пасху играет! И оно тоже радуется, как люди!— Оно не живое, — заметила жена.— Да на нем люди есть! — воскликнул Торчаков. — Ей-богу, есть! Мне Иван Степаныч рассказывал — на всех планетах есть люди, на солнце и на месяце! Право... А может, ученые и брешут, нечистый их знает! Постой, никак лошадь стоит! Так и есть!На полдороге к дому, у Кривой Балочки, Торчаков и его жена увидели оседланную лошадь, которая стояла неподвижно и нюхала землю. У самой дороги на кочке сидел рыжий казак и, согнувшись, глядел себе в ноги.— Христос воскрес! — крикнул ему Максим.— Воистину воскрес, — ответил казак, не поднимая головы.— Куда едешь?— Домой, на льготу.— Зачем же тут сидишь?— Да так... захворал... Нет мочи ехать.— Что ж у тебя болит?— Весь болю.— Гм... вот напасть! У людей праздник, а ты хвораешь! Да ты бы в деревню или на постоялый ехал, а что так сидеть?Казак поднял голову и обвел утомленными больными глазами Максима, его жену, лошадь.— Вы это из церкви? — спросил он.— Из церкви.— А меня праздник в дороге застал. Не привел бог доехать. Сейчас сесть бы да ехать, а мочи нет... Вы бы, православные, дали мне, проезжему, свяченой пасочки [\*](https://ilibrary.ru/text/4221/p.1/index.html" \l "fn1) разговеться!— Пасочки? — спросил Торчаков. — Оно можно, ничего... Постой, сейчас...Максим быстро пошарил у себя в карманах, взглянул на жену и сказал:— Нету у меня ножика, отрезать нечем. А ломать-то — не рука, всю паску испортишь. Вот задача! Поищи-ка, нет ли у тебя ножика?Казак через силу поднялся и пошел к своему седлу за ножом.— Вот еще что выдумали! — сердито сказала жена Торчакова. — Не дам я тебе паску кромсать! С какими глазами я ее домой порезанную повезу? И видано ль дело — в степи разговляться! Поезжай на деревню к мужикам да там и разговляйся!Жена взяла из рук мужа кулич, завернутый в белую салфетку, и сказала:— Не дам! Надо порядок знать. Это не булка, а свяченая паска, и грех ее без толку кромсать.— Ну, казак, не прогневайся! — сказал Торчаков и засмеялся. — Не велит жена! Прощай, путь-дорога!Максим тронул вожжи, чмокнул, и бричка с шумом покатила дальше. А жена всё еще говорила, что резать кулич, не доехав до дому, — грех и непорядок, что всё должно иметь свое место и время. На востоке, крася пушистые облака в разные цвета, засияли первые лучи солнца; послышалась песня жаворонка. Уж не один, три коршуна, в отдалении друг от друга, носились над степью. Солнце пригрело чуть-чуть, и в молодой траве затрещали кузнечики.Отъехав больше версты, Торчаков оглянулся и пристально поглядел вдаль.— Не видать казака... — сказал он. — Экий сердяга, вздумал в дороге хворать! Нет хуже напасти: ехать надо, а мочи нет... Чего доброго, помрет в дороге... Не дали мы ему, Лизавета, паски, а небось и ему надо было дать. Небось и ему разговеться хочется.Солнце взошло, но играло оно или нет, Торчаков не видел. Всю дорогу до самого дома он молчал, о чем-то думал и не спускал глаз с черного хвоста лошади. Неизвестно отчего, им овладела скука, и от праздничной радости в груди не осталось ничего, как будто ее и не было.Приехали домой, христосовались с работниками; Торчаков опять повеселел и стал разговаривать, но как сели разговляться и все взяли по куску свяченого кулича, он невесело поглядел на жену и сказал:— А нехорошо, Лизавета, что мы не дали тому казаку разговеться.— Чудной ты, ей-богу! — сказала Лизавета и с удивлением пожала плечами. — Где ты взял такую моду, чтобы свяченую паску раздавать по дороге? Нешто это булка? Теперь она порезана, на столе лежит, пущай ест, кто хочет, хоть и казак твой! Разве мне жалко?— Так-то оно так, а жалко мне казака. Ведь он хуже нищего и сироты. В дороге, далеко от дому, хворый...Торчаков выпил полстакана чаю и уж больше ничего не пил и не ел. Есть ему не хотелось, чай казался невкусным, как трава, и опять стало скучно.После разговенья легли спать. Когда часа через два Лизавета проснулась, он стоял у окна и глядел во двор.— Ты уже встал? — спросила жена.— Не спится что-то... Эх, Лизавета, — вздохнул он, — обидели мы с тобой казака!— Ты опять с казаком! Дался тебе этот казак. Бог с ним.— Он царю служил, может, кровь проливал, а мы с ним как с свиньей обошлись. Надо бы его, больного, домой привезть, покормить, а мы ему даже кусочка хлеба не дали.— Да, так и дам я тебе паску портить. Да еще свяченую! Ты бы ее с казаком искромсал, а я бы потом дома глазами лупала? Ишь ты какой!Максим потихоньку от жены пошел в кухню, завернул в салфетку кусок кулича и пяток яиц и пошел в сарай к работникам.— Кузьма, брось гармонию, — обратился он к одному из них. — Седлай гнедого или Иванчика и езжай поживее к Кривой Балочке. Там больной казак с лошадью, так вот отдай ему это. Может, он еще не уехал.Максим опять повеселел, но, прождав несколько часов Кузьму, не вытерпел, оседлал лошадь и поскакал к нему навстречу. Встретил он его у самой Балочки.— Ну что? Видал казака?— Нигде нету. Должно, уехал.— Гм... история!Торчаков взял у Кузьмы узелок и поскакал дальше. Доехав до деревни, он спросил у мужиков:— Братцы, не видали ли вы больного казака с лошадью? Не проезжал ли тут? Из себя рыжий, худой, на гнедом коне.Мужики поглядели друг на друга и сказали, что казака они не видели.— Обратный почтовый ехал, это точно, а чтоб казак или кто другой — такого не было.Вернулся Максим домой к обеду.— Сидит у меня этот казак в голове и хоть ты что! — сказал он жене. — Не дает спокою. Я всё думаю: а что ежели это бог нас испытать хотел и ангела или святого какого в виде казака нам навстречу послал? Ведь бывает это. Нехорошо, Лизавета, обидели мы человека!— Да что ты ко мне с казаком пристал? — крикнула Лизавета, выходя из терпения. — Пристал, как смола!— А ты, знаешь, недобрая... — сказал Максим и пристально поглядел ей в лицо.И он впервые после женитьбы заметил, что его жена недобрая.— Пущай я недобрая, — крикнула она и сердито стукнула ложкой, — а только не стану я всяким пьяницам свяченую паску раздавать!— А нешто казак пьяный?— Пьяный!— Почем ты знаешь?— Пьяный!— Ну и дура!Максим, рассердившись, встал из-за стола и начал укорять свою молодую жену, говорил, что она немилосердная и глупая. А она, тоже рассердившись, заплакала и ушла в спальню и крикнула оттуда:— Чтоб он околел, твой казак! Отстань ты от меня, холера, со своим казаком вонючим, а то я к отцу уеду!За всё время после свадьбы у Торчакова это была первая ссора с женой. До самой вечерни он ходил у себя по двору, всё думал о жене, думал с досадой, и она казалась теперь злой, некрасивой. И как нарочно, казак всё не выходил из головы и Максиму мерещились то его больные глаза, то голос, то походка...— Эх, обидели мы человека! — бормотал он. — Обидели!Вечером, когда стемнело, ему стало нестерпимо скучно, как никогда не было, — хоть в петлю полезай! От скуки и с досады на жену он напился, как напивался в прежнее время, когда был неженатым. В хмелю он бранился скверными словами и кричал жене, что у нее злое, некрасивое лицо и завтра же он прогонит ее к отцу.Утром на другой день праздника он захотел опохмелиться и опять напился.С этого и началось расстройство.Лошади, коровы, овцы и ульи мало-помалу, друг за дружкой стали исчезать со двора, долги росли, жена становилась постылой... Все эти напасти, как говорил Максим, произошли оттого, что у него злая, глупая жена, что бог прогневался на него и на жену... за больного казака. Он всё чаще и чаще напивался. Когда был пьян, то сидел дома и шумел, а трезвый ходил по степи и ждал, не встретится ли ему казак...

**Тепло родного дома (4 ч)**

Русские мастера

**С. А. Есенин.** «Ключи Марии» (фрагмент).

Посвящаю с любовью  
Анатолию Мариенгофу

1

Орнамент — это музыка. Ряды его линий в чудеснейших и весьма тонких распределениях похожи на мелодию какой-то одной вечной песни перед мирозданием. Его образы и фигуры какое-то одно непрерывное богослужение живущих во всякий час и на всяком месте. Но никто так прекрасно не слился с ним, вкладывая в него всю жизнь, все сердце и весь разум, как наша древняя Русь, где почти каждая вещь через каждый свой звук говорит нам знаками о том, что здесь мы только в пути, что здесь мы только «избяной обоз», что где-то вдали, подо льдом наших мускульных ощущений, поет нам райская сирена и что за шквалом наших земных событий недалек уже берег.Прежде чем подойти к открывшимся нам тайнам орнамента в слове, мы коснемся его линий под углами разбросанной жизни обихода. За орнамент брались давно. Значение и пути его объясняли в трудах своих Стасов и Буслаев, много других, но никто к нему не подошел так, как надо, никто не постиг того, что —

на кровле конек  
Есть знак молчаливый, что путь наш далек.

(Н. Клюев)

Все ученые, как гробокопатели, старались отыскать прежде всего влияние на нем, старались доказать, что в узорах его больше колдуют ассирийские заклинатели, чем Персия и Византия.Конечно, никто не будет отрицать того, что наши древние рукописи XIII и XIV в. носят на себе явные признаки сербско-болгарского отражения. Византийские и болгарские проповедники христианских идей наложили на них довольно выпуклый отпечаток. Никто не скажет, что новгородская и ярославская иконопись нашли себя в своих композициях самостоятельно. Все величайшие наши мастера зависели всецело от крещеного Востока.Но крещеный Восток абсолютно не бросил в нас, в данном случае, никакого зерна; он не оплодотворил нас, а только открыл лишь те двери, которые были заперты на замок тайного слова.Самою первою и главною отраслью нашего искусства с тех пор, как мы начинаем себя помнить, был и есть орнамент. Но, просматривая и строго вглядываясь во все исследования специалистов из этой области, мы не встречаем почти ни единого указания на то, что он существовал раньше, гораздо раньше приплытия к нашему берегу миссионеров из Греции.Все, что рассматривается извне, никогда не рождается в яслях с лучами звезд в глазах и мистическим ореолом над головой. Звезды и круг — знаки той грамоты, которая ведет читающего ее в сад новой жизни и нового просветленного чувствования. Наши исследователи не заглянули в сердце нашего народного творчества. Они не поняли поющего старца:

«Как же мне, старцу  
Старому, не плакать.  
Как же мне, старому, не рыдать:  
Потерял я книгу золотую  
Во темном бору,  
Уронил я ключ от церкви  
В сине море».  
Отвечает старцу господь бог:  
«Ты не плачь, старец, не вздыхай,  
Книгу новую я вытку звездами,  
Золотой ключ волной выплесну».

Из чувства национальной гордости Равинский подчеркивал нечто в нашем орнаменте, но это нечто было лишь бледными словами о том, что у наших переписчиков выписка и вырисовка образов стояли на первом месте, между тем как в других странах это стояло на втором плане.Все говорили только о письменных миниатюрах, а ключ истинного, настоящего архитектурного орнамента так и остался не выплеснутым, и церковь его стоит запечатана до сего времени.Но весь абрис хозяйственно-бытовой жизни свидетельствует нам о том, что он был, остался и живет тем самым прекрасным полотенцем, изображающим через шелк и канву то символическое древо, которое означает «семью», совсем не важно, что в Иудее это древо носило имя Маврикийского дуба и потому вместе с христианством перешло, как название, бесплатным приложением к нам. Скандинавская Иггдразиль — поклонение ясеню, то древо, под которым сидел Гуатама, и этот Маврикийский дуб были символами «семьи» как в узком, так и широком смысле у всех народов; это древо родилось в эпоху пастушеского быта. В древности никто не располагал временем так свободно, как пастухи. Они были первые мыслители и поэты, о чем свидетельствуют показания Библии и апокрифы других направлений. Вся языческая вера в переселение душ, музыка, песня и тонкая, как кружево, философия жизни на земле есть плод прозрачных пастушеских дум. Само слово пас-тух (пас — дух, ибо в русском языке часто д переходит в т, так же как е в о, есень — осень, и а в я, аблонь — яблонь) говорит о каком-то мистически помазанном значении над ним. «Я не царь и не царский сын, — я пастух, а говорить меня научили звезды», — пишет пророк Амос. Вот эти-то звезды — золотая книга странника — и вырастили наше вселенское символическое древо. Наши бахари орнамента без всяких скрещиваний с санскритством поняли его, развязав себя через пуп, как Гуатама. Они увидели через листья своих ногтей, через пальцы ветвей, через сучья рук и через ствол туловища с ногами, обозначающими коренья, что мы есть чада древа, семья того вселенского дуба, под которым Авраам встречает святую троицу. На происхождение человека от древа указывает и наша былина «О хоробром Егории»:

У них волосы — трава,  
Телеса — кора древесная.

Мысль об этом происхождении от древа породила вместе с музыкой и мифический эпос.Происхождение музыки от древа в наших мистериях есть самый прекраснейший ключ в наших руках от дверей закрытого храма мудрости. Без всякого Иовулла и Вейнеймейнена наш народ через простой лик безымянного пастуха открыл две скрытых силы воздуха вместе. Этот пастух только и сделал, что срезал на могиле тростинку, и уж не он, а она сама поведала миру через него свою волшебную тайну: «Играй, играй, пастушок. Вылей звуками мою злую грусть. Не простую дудочку ты в руках держишь. Я когда-то была девицей. Погубили девицу сестры. За серебряное блюдечко, за наливчатое яблочко». Здесь в одном образе тростинки слито три прозрения.Узлом слияния потустороннего мира с миром видимым является скрытая вера в переселение души.Ничто не дается без жертвы. Ни одной тайны не узнаешь без послания в смерть. Конечно, никакие сестры не убивали своей сестры; это убил ее в своем сердце наш творчески жестокий народ, чтоб легче слить себя с тайной звуков и слова и овладеть ею как образом.Все от древа — вот религия мысли нашего народа, но празднество этой каны и было и будет понятно весьма немногим. Исследователи древнерусской письменности и строительного орнамента забыли главным образом то, что народ наш живет больше устами, чем рукою и глазом, устами он сопровождает почти весь фигуральный мир в его явлениях, и если берется выражать себя через средства, то образ этого средства всегда конкретен. То, что музыка и эпос родились у нас вместе через знак древа, — заставляет нас думать об этом не как о случайном факте мифического утверждения, а как о строгом вымеренном представлении наших далеких предков. Свидетельство этому наш не поясненный и не разгаданный никем бытовой орнамент.Все наши коньки на крышах, петухи на ставнях, голуби на князьке крыльца, цветы на постельном и тельном белье вместе с полотенцами носят не простой характер узорочья, это великая значная эпопея исходу мира и назначению человека. Конь как в греческой, египетской, римской, так и в русской мифологии есть знак устремления, но только один русский мужик догадался посадить его к себе на крышу, уподобляя свою хату под ним колеснице. Ни Запад и ни Восток, взятый вместе с Египтом, выдумать этого не могли, хоть бы тысячу раз повторили себя своей культурой обратно. Это чистая черта скифии с мистерией вечного кочевья. «Я еду к тебе, в твои лона и пастбища», — говорит наш мужик, запрокидывая голову конька в небо. Такое отношение к вечности как к родительскому очагу проглядывает и в символе нашего петуха на ставнях. Известно, что петух встает вместе с солнцем, он вечный вестник его восхода, и крестьянин не напрасно посадил его на ставню, здесь скрыт глубокий смысл его отношения и восприятия солнца. Он говорит всем проходящим мимо избы его через этот символ, что «здесь живет человек, исполняющий долг жизни по солнцу. Как солнце рано встает и лучами-щупальцами влагает в поры земли тепло, так и я, пахарь, встаю вместе с ним опускать в эти отепленные поры зерна труда моего. В этом благословение моей жизни, от этих зерен сыт я и этот на ставне петух, который стоит стражем у окна моего и каждое утро, плеском крыл и пением встречая выкатившееся из-за горы лицо солнца, будит своего хозяина». Голубь на князьке крыльца есть знак осенения кротостью. Это слово пахаря входящему. «Кротость веет над домом моим, кто б ты ни был, войди, я рад тебе». Вырезав этого голубя над крыльцом, пахарь значением его предупредил и сердце входящего. Изображается голубь с распростертыми крыльями. Размахивая крыльями, он как бы хочет влететь в душу того, кто опустил свою стопу на ступень храма-избы, совершающего литургию миру и человеку, и как бы хочет сказать: «Преисполнясь мною, ты постигнешь тайну дома сего», — и действительно, только преисполнясь, можно постичь мудрость этих избяных заповедей, скрытых в искусах орнамента. Если б хоть кто-нибудь у нас понял в России это таинство, которое совершает наш бессловесный мужик, тот с глубокой болью почувствовал бы мерзкую клевету на эту мужичью правду всех наших кустарей и их приспешников. Он бы выгнал их, как торгующих из храма, как хулителей на святого духа...Нет, не в одних только письменных свитках мы скрываем культуру наших прозрений, через орнаментику букв и пояснительные миниатюры. Мы заставили жить и молиться вокруг себя почти все предметы. Вглядитесь в цветочное узорочье наших крестьянских простынь и наволочек. Здесь с какой-то торжественностью музыки переплетаются кресты, цветы и ветви. Древо на полотенце — значение нам уже известное, оно ни на чем не вышивается, кроме полотенца, и опять-таки мы должны указать, что в этом скрыт весьма и весьма глубокий смысл.Древо — жизнь. Каждое утро, встав от сна, мы омываем лицо свое водою. Вода есть символ очищения и крещение во имя нового дня. Вытирая лицо свое о холст с изображением древа, наш народ немо говорит о том, что он не забыл тайну древних отцов вытираться листвою, что он помнит себя семенем надмирного древа и, прибегая под покров ветвей его, окунаясь лицом в полотенце, он как бы хочет отпечатать на щеках своих хоть малую ветвь его, чтоб, подобно древу, он мог осыпать с себя шишки слов и дум и струить от ветвей-рук тень-добродетель. Цветы на постельном белье относятся к кругу восприятия красоты. Означают они царство сада или отдых отдавшего день труду на плодах своих. Они являются как бы апофеозом как трудового дня, так и вообще жизненного смысла крестьянина.Таким образом разобрав весь, казалось бы, внешне непривлекательный обиход, мы наталкиваемся на весьма сложную и весьма глубокую орнаментичную эпопею с чудесным переплетением духа и знаков. И «отселе», выражаясь пушкинским языком, нам видно «потоков рожденье».

2

За культурой обиходного орнамента на неприхоженных снегах русского поля начинают показываться следы искусства словесного. Уже в X и XI в. мы встречаем целый ряд мифических и апокрифических произведений, где лепка слов и образов поражает нас не только смелостью своих выискиваемых положений, но и тонким изяществом своего построения. Конечно, и это не обошлось без вмешательства некоторой цивилизации западных славян, разъезжавших тогда на осле христианства, но ярчащая сверкающая переливами всех цветов русская жизнь смыла его при первом же погружении в купель словесного творчества.Первое, что внесли нам западные славяне, это есть письменность. Они передали нам знаки для выражения звука. Но заслуга их в этом небольшая. Через некоторое время мы нашли бы их сами, ибо у нас уже были найдены самые главные ключи к человеческому разуму, это — знаки выражения духа, те самые знаки, из которых простолюдин составил свою избяную литургию.Изба простолюдина — это символ понятий и отношений к миру, выработанных еще до него его отцами и предками, которые неосязаемый и далекий мир подчинили себе уподоблениями вещам их кротких очагов. Вот потому-то в наших песнях и сказках мир слова так похож на какой-то вечно светящийся Фавор, где всякое движение живет, преображаясь.Красный угол, например, в избе есть уподобление заре, потолок — небесному своду, а матица — Млечному Пути. Философический план помогает нам через такой порядок разобрать машину речи почти до мельчайших винтиков.В нашем языке есть много слов, которые как «семь коров тощих пожрали семь коров тучных», они запирают в себе целый ряд других слов, выражая собой иногда весьма длинное и сложное определение мысли. Например, слово умение (умеет) запрягло в себе ум, имеет и несколько слов, опущенных в воздух, выражающих свое отношение к понятию в очаге этого слова. Этим особенно блещут в нашей грамматике глагольные положения, которым посвящено целое правило спряжения, вытекшее из понятия «запрягать», то есть надевать сбрую слов какой-нибудь мысли на одно слово, которое может служить так же, как лошадь в упряжи, духу, отправляющемуся в путешествие по стране представления. На этом же пожирании тощими словами тучных и на понятии «запрягать» построена почти и вся наша образность, слагая два противоположных явления через сходственность в движении, она родила метафору:

Луна — заяц,  
Звезды — заячьи следы.

Происхождение этого главным образом зависит от того, что наших предков сильно беспокоила тайна мироздания. Они перепробовали почти все двери, ведущие к ней, и оставили нам много прекраснейших ключей и отмычек, которые мы бережно храним в музеях нашей словесной памяти. Разбираясь в узорах нашей мифологической эпики, мы находим целый ряд указаний на то, что человек есть ни больше, ни меньше, как чаша космических обособленностей. В «Голубиной книге» так и сказано:

У нас помыслы от облак божиих...  
Дух от ветра...  
Глаза от солнца...  
Кровь от черного моря...  
Кости от камней...  
Тело от сырой земли...

Живя, двигаясь и волнуясь, человек древней эпохи не мог не задать себе вопроса, откуда он, что есть солнце и вообще что есть обстающая его жизнь? Ища ответа во всем, он как бы искал своего внутреннего примирения с собой и миром. И, разматывая клубок движений на земле, находя имя всякому предмету и положению, научившись защищать себя от всякого наступательного явления, он решился теми же средствами примирить себя с непокорностью стихий и безответностью пространства. Примирение это состояло в том, что кругом он сделал, так сказать, доступную своему пониманию расстановку. Солнце, например, уподобилось колесу, тельцу и множеству других положений, облака взрычали, как волки, и т. д. При такой расстановке он ясно и отчетливо определял всякое положение в движении наверху.В наших северных губерниях про ненастье до сих пор говорят:

Волцы задрали солнечко.

Сие заставление воздушного мира земною предметностью существовало еще несколько тысяч лет до нас и в Египте. Эдда построила мир из отдельных частей тела убитого Имира. Индия в Ведах через браман утверждает то же самое, что и Даниил Заточник: «Тело составляется жилами, яко древо корением. По ним же тече секерою сок и кровь, иже память воды». Как младшее племя в развитии духовных ценностей, мы можем показаться неопытному глазу талантливыми отобразителями этих пройденных до нас дорог. Но это будет просто слепотой неопытного глаза.Прежде всего, всякая мифология, будь то мифология египтян, вавилонян, иудеев и индийцев, носит в чреве своем образование известного представления. Представление о воздушном мире не может обойтись без средств земной обстановки, земля одинакова кругом, то, что видит перс, то видит и чукот, поэтому грамота одинакова, и читать ее и писать по ней, избегая тожественности, невозможно почти совсем.Самостоятельность линий может быть лишь только в устремлении духа, и чем каждое племя резче отделялось друг от друга бытовым положением, тем резче вырисовывались их особенности. Это ясно подчеркнул наш бытовой орнамент и романский стиль железных орлов, крылья которых победно были распростерты на запад и подчеркивали устремление немцев к мечте о победе над всей бегущей перед ними Европой. Устремление не одинаково, в зависимости от этого, конечно, не одинаковы и средства. Вавилонянам через то, что на пастбищах туч Оаннес пас быка-солнце... нужна была башня. Русскому же уму через то, что Перун и Даждь-бог пели стрелами Стрибога о вселенском дубе, нужен был всего лишь с запрокинутой головой в небо конек на кровле. Но то, что средства земли принадлежат всем, так же ясно, как всем равно греет солнце, дует ветер и ворожит луна.Вязь поэтических украшений подвластна всем. Если Гермес Трисмигист говорил: «Что вверху, то внизу, что внизу, то вверху. Звезды на небе и звезды на земле»; если Гомер мог сказать о слове, что оно, «как птица, вылетает из-за городьбы зубов», то и наш Боян не мог не дать образа перстам и струнам, уподобляя первых десяти соколам, а вторых стае лебедей, не мог он и себя не опрокинуть так же, как Трисмигист, в небо, где мысль, как древо, а сам он, «Бояне вещий, Велесов внуче», соловьем скачет по ветвям этого древа мысли, ибо то и другое рождается в одних яслях явления музыки и творческой картины по законам самой природы.Древние певцы, трубадуры, менестрели, сказители и бояны в звуках своих часто старались передавать по тем же законам заставочной образности пение птиц, и недаром народ наш заморского музыканта назвал в песнях своих Соловьем Будимировичем. Вглядитесь в слова Гомера, ведь он до ясности подчеркивает в себе приобретенное мастерство от пернатых царевичей звуков. Если слово — птица, значит, звук его есть клекот и пение этой птицы, если зубы — городьба, то жилы, уж наверное, есть уподобление ветвям опущенного подсознательно древа, на которых эта птица вьет себе гнездо. Здесь все оправдано, здесь нет ни единой лишней черты, о которую воспринимающая такое построение мысль спотыкалась бы, как об осеннюю кочку. Здесь мы видим, что образ рождается через слагаемость. Слагаемость рождает нам лицо звука, лицо движения пространства и лицо движения земного. Через строго высчитанную сумму образов, «соловьем скакаше по древу мысленну», наш Боян рассказывает, так же как и Гомер, целую эпопею о своем отношении к творческому слову. Мы видим, что у него внутри есть целая наука как в отношении к себе, так и в отношении к миру. Сам он может взлететь соколом под облаки, в море сплеснуть щукою, в поле проскакать оленем, но мир для него есть вечное, неколеблемое древо, на ветвях которого растут плоды дум и образов.Обоготворение сил природы, выписанное лицо ветра, именем Стрибога или Борея в наших мифологиях земного шара есть не что иное, как творческая ориентация наших предков в царстве космических тайн. Это тот же образ, который родит алфавит непрочитанной грамоты. Мысль ставит чему-нибудь непонятному ей рыбачью сеть, уловляет его и облекает в краску имени. Начальная буква в алфавите А есть не что иное, как образ человека, ощупывающего на коленях землю. Опершись на руки и устремив на землю глаза, он как бы читает знаки существа ее.Буква Б представляет из себя ощупывание этим человеком воздуха. Движение его уже идет от А обратно. (Ибо воздух и земля по отношению друг к другу опрокинутость.) Знак сидения на коленях означает то, что между землей и небом он почувствовал мир пространства. Поднятые руки рисуют как бы небесный свод, а согнутые колени, на которые он присел, землю.Прочитав сущность земли и почувствовав над нею прикрытое синим сводом пространство, человек протянул руки и к своей сущности. Пуп есть узел человеческого существа, и поэтому, определяя себя или ощупывая, человек как-то невольно опустил свои руки на эту завязь, и получилась буква В.Дальнейшее следование букв идет с светом мысли от осознания в мире сущности. Почувствовав себя, человек подымается с колен и, выпрямившись, протягивает руки снова в воздух. Здесь его движения через символы знаков, тех знаков, которыми он ищет своего примирения с воздухом и землею, рождают весь дальнейший порядок алфавита, который так мудро оканчивается фигурою буквы Я. Эта буква рисует человека, опустившего руки на пуп (знак самопознания), шагающим по земле, линии, идущие от средины туловища буквы, есть не что иное, как занесенная для шага правая нога и подпирающая корпус левая.Через этот мудро занесенный шаг, шаг, который окончивает обретение знаков нашей грамоты, мы видим, что человек еще окончательно себя не нашел. Он мудро благословил себя, со скарбом открытых ему сущностей, на вечную дорогу, которая означает движение, движение и только движение вперед.Если таким образом мы могли бы разобрать всю творческо-мыслительную значность, то мы увидели бы почти все сплошь составные части в строительстве избы нашего мышления. Мы увидели бы, как лежит бревно на бревне образа, увидели бы, как сочетаются звуки, постигли бы тайну гласных и согласных, в спайке которых скрыта печаль земли по браке с небом. Нам открылась бы тайна, самая многозначная и тончайшая тайна той хижины, в которой крестьянин так нежно и любовно вычерчивает примитивными линиями явления пространства. Мы полюбили бы мир этой хижины со всеми петухами на ставнях, коньками на крышах и голубками на князьках крыльца не простой любовью глаза и чувственным восприятием красивого, а полюбили бы и познали бы самою правдивою тропинкой мудрости, на которой каждый шаг словесного образа делается так же, как узловая завязь самой природы.Искусство нашего времени не знает этой завязи, ибо то, что она жила в Данте, Гебеле, Шекспире и других художниках слова, для представителей его от сегодняшнего дня прошло мертвой тенью. Звериные крикуны, абсолютно безграмотная критика и третичный период идиотического состояния городской массы подменили эту завязь безмозглым лязгом железа Америки и рисовой пудрой на выпитых щеках столичных проституток. Единственным расточительным и неряшливым, но все же хранителем этой тайны была полуразбитая отхожим промыслом и заводами деревня. Мы не будем скрывать, что этот мир крестьянской жизни, который мы посещаем разумом сердца через образы, наши глаза застали, увы, вместе с расцветом на одре смерти. Он умирал, как выплеснутая волной на берег земли рыба. В судорожном биении он ловил своими жабрами хоть струйку родного ему воздуха, но вместо воздуха в эти жабры впивался песок и, словно гвозди, разрывал ему кровеносные сосуды.Мы стояли у смертного изголовья этой мистической песни человека, которая единственно, единственно от жажды впивала в себя всякую воду из нечистых луж сектантства, вроде охтинских богородиц или белых голубей. Этот вихрь, который сейчас бреет бороду старому миру, миру эксплуатации массовых сил, явился нам как ангел спасения к умирающему, он протянул ему как прокаженному руку и сказал: «Возьми одр твой и ходи».Мы верим, что чудесное исцеление родит теперь в деревне еще более просветленное чувствование новой жизни. Мы верим, что пахарь пробьет теперь окно не только глазком к богу, а целым огромным, как шар земной, глазом. Звездная книга для творческих записей теперь открыта снова. Ключ, оброненный старцем в море, от церкви духа выплеснут золотыми волнами, народ не забудет тех, кто взбурлил волны, он сумеет отблагодарить их своими песнями, и мы, видевшие жизнь его творчества, умирание и воскресение, услышим снова тот ответный перезвон узловой завязи природы с сущностью человека в ряду таких же строк и, может быть, еще сильнее и красивее, как:

Завила кудри,  
Завила русы  
Родна сестрица,  
На светел месяц  
Она глядючи,  
Со воды узор  
Сонимаючи.

Будущее искусство расцветет в своих возможностях достижений как некий вселенский вертоград, где люди блаженно и мудро будут хороводно отдыхать под тенистыми ветвями одного преогромнейшего древа, имя которому социализм, или рай, ибо рай в мужицком творчестве так и представлялся, где нет податей за пашни, где «избы новые, кипарисовым тесом крытые», где дряхлое время, бродя по лугам, сзывает к мировому столу все племена и народы и обносит их, подавая каждому золотой ковш, сыченою брагой.Но дорога к этому свету искусства, помимо смываемых препятствий в мире внешней жизни, имеет еще целые рощи колючих кустов шиповника и крушины в восприятии мысли и образа. Люди должны научиться читать забытые ими знаки. Должны почувствовать, что очаг их есть та самая колесница, которая увозит пророка Илью в облака. Они должны постичь, что предки их не простыми завитками дали нам фиту и ижицу, они дали их нам, как знаки открывающейся книги, в книге нашей души. Человек по последнему знаку отправился искать себя. Он захотел найти свое место в пространстве и обозначил это пространство фигурою буквы Ө. За этим знаком пространства, за горою его северного полюса, идет рисунок буквы Y, которая есть не что иное, как человек, шагающий по небесному своду. Он идет навстречу идущему от фигуры буквы Я (закон движения — круг).Волнообразная линия в букве Ө означает место, где оба идущих должны встретиться. Человек, идущий по небесному своду, попадет головой в голову человеку, идущему по земле. Это есть знак того, что опрокинутость земли сольется в браке с опрокинутостью неба. Пространство будет побеждено, и в свой творческий рисунок мира люди, как в инженерный план, вдунут осязаемые грани строительства. Воздушные рифы глазам воздушных корабельщиков будут видимы так же, как рифы водные. Всюду будут расставлены вехи для безопасного плавания, и человечество будет перекликаться с земли не только с близкими ему по планетам спутниками, а со всем миром в его необъятности.Но для этого перед нами лежит огромнейшая внутренняя работа. Мы должны ясней изучить свою сущность, проверить себя не по годам тела, а по возрасту души, ибо убеленный сединами старец иногда по этому возрасту души равняется всего лишь пятнадцатилетнему отроку, которого за его стихи Феб приказал выпороть. У нас многие заслуживают ровно такого же отношения к себе, но и многие пребывают просто в слепоте нерождения. Их глазам нужно сделать какой-то надрез, чтобы они видели, что небо не оправа для алмазных звезд, а необъятное, неисчерпаемое море, в котором эти звезды живут, как многочисленные стаи рыб, а месяц для них все равно что закинутая рыбаком верша.Для этого прежде всего мы должны до точности проследить пути нашего настоящего творчества и творчества заблудившегося, должны разбить образы на законы определений, подчеркнуть родоспособность их и поставить в хоровой чин, так же как поставлены по блеску луна, солнце и земля.

3

Существо творчества в образах разделяется так же, как существо человека, на три вида — душа, плоть и разум.Образ от плоти можно назвать заставочным, образ от духа корабельным и третий образ от разума ангелическим.Образ заставочный есть, так же как и метафора, уподобление одного предмета другому или крещение воздуха именами близких нам предметов.Солнце — колесо, телец, заяц, белка.Тучи — ели, доски, корабли, стадо овец.Звезды — гвозди, зерна, караси, ласточки.Ветер — олень, Сивка Бурка, метельщик.Дождик — стрелы, посев, бисер, нитки.Радуга — лук, ворота, верея, дуга и т. д.Корабельный образ есть уловление в каком-либо предмете, явлении или существе струения, где заставочный образ плывет, как ладья по воде. Давид, например, говорит, что человек словами течет, как дождь, язык во рту для него есть ключ от души, которая равняется храму вселенной. Мысли для него струны, из звуков которых он слагает песню господу. Соломон, глядя в лицо своей красивой Суламифи, прекрасно восклицает, что зубы ее «как стадо остриженных коз, бегущих с гор Галаада».Наш Боян поет нам, что «на Немизе снопы стелют головами, молотят цепы харалужными, на тоце живот кладут, веют душу от тела. Немизе кровави брези не бологомь бяхуть посеяни, — посеяни костьми русьскых сынов».Ангелический образ есть сотворение или пробитие из данной заставки и корабельного образа какого-нибудь окна, где струение являет из лика один или несколько новых ликов, где зубы Суламифь без всяких как, стирая всякое сходство с зубами, становятся настоящими живыми, сбежавшими с гор Галаада козами. На этом образе построены почти все мифы от дней египетского быка в небе вплоть до нашей языческой религии, где ветры, стрибожьи внуци, «веют с моря стрелами», он пронзает устремление почти всех народов в их лучших произведениях, как «Илиада», Эдда, Калевала, «Слово о полку Игореве», Веды, Библия и др. В чисто индивидуалистическом творчестве Эдгар По построил на нем свое «Эльдорадо», Лонгфелло «Песнь о Гайавате», Гебель свой «Ночной разговор», Уланд свой «Пир в небесной стороне», Шекспир нутро «Гамлета», ведьм и Бирнамский лес в «Макбете». Воздухом его дышит наш русский «Стих о Голубиной книге», «Златая цепь», «Слово о Данииле Заточнике» и множество других произведений, которые выпукло светят на протяжении долгого ряда веков.Наше современное поколение не имеет представления об этих образах. В русской литературе за последнее время произошло невероятнейшее отупение. То, что было выжато и изъедено вплоть до корок рядом предыдущих столетий, теперь собирается по кусочкам, как открытие. Художники наши уже несколько десятков лет подряд живут совершенно без всякой внутренней грамотности. Они стали какими-то ювелирами, рисовальщиками и миниатюристами словесной мертвенности. Для Клюева, например, все сплошь стало идиллией гладко причесанных английских гравюр, где виноград стилизуется под курчавый порядок воинственных всадников; то, что было раньше для него сверлением облегающей его коры, теперь стало вставкой в эту кору. Сердце его не разгадало тайны наполняющих его образов, и, вместо голоса из-под камня Оптиной пустыни, он повеял на нас безжизненным кружевным ветром деревенского Обри Бердслея, где ночи-вставки он отливает в перстень яснее дней, а мозоль, простой мужичий мозоль вставляет в пятку, как алтарную ладанку. Конечно, никто не будет спорить о достоинствах этой мозаики. Уайльд в лаптях для нас столь же приятен, как и Уайльд с цветком в петлице и лакированных башмаках. В данном случае мы хотим лишь указать на то, что художник пошел не по тому лугу. Он погнался за яркостью красок и «изрони женьчужну душу из храбра тела, чрез злато ожерелие», ибо луг художника только тот, где растут цветы целителя Пантелимона.Создать мир воздуха из предметов земных вещей или рассыпать его на вещи — тайна для нас не новая. Она характеризует разум, сделавший это лишь как ларец, где лежат приборы для более тонкой вышивки; это есть сочинительство загадок с ответом в средине самой же загадки. Но в древней Руси и по сию пору в народе эта область творчества гораздо экспрессивнее. Там о месяце говорят:

Сивка море перескочил,  
Да копыт не замочил.  
Лысый мерин через синее  
Прясло глядит.

Роса там определяется таким словесным узором, как:

Заря-заряница,  
Красная девица,  
В церковь ходила,  
Ключи обронила.  
Месяц видел,  
Солнце скрало.

Вслед Клюеву свернул себе шею на своей дороге и подглуповатый футуризм. Очертив себя кругом Хомы Брута из сказки о Вие, он крикливо старался напечатлеть нам имена той нечисти (нечистоты), которая живет за задними углами наших жилищ. Он сгруппировал в своем сердце все отбросы чувств и разума и этот зловонный букет бросил, как «проходящий в ночи», в наше, с масличной ветвью ноевского голубя, окно искусства. Голос его гнойного разложения прозвучал еще при самом таинстве рождения урода. Маринетти, крикнувший клич войны, первый проткнулся о копье творческой правды. Нашим подголоскам: Маяковскому, Бурлюку и другим рожденным распоротым животом этого ротастого итальянца — движется, вещуя гибель, Бирнамский лес — открывающаяся в слове и образе доселе скрытая внутренняя сила русской мистики. Бессилие футуризма выразилось главным образом в том, что, повернув сосну кореньями вверх и посадив на сук ей ворону, он не сумел дать жизнь этой сосне без подставок. Он не нашел в воздухе воды не только озера, но даже маленькой лужицы, где б можно было окунуть корни этой опрокинутой сосны. Рост ввысь происходит по-иному, в нее растет только то, что сбрасывает с себя кору или, подобно Андрее-Беловскому «Котику Летаеву», вытягивается из тела руками души, как из мешка.Когда Котик плачет в горизонт, когда на него мычит черная ночь и звездочка слетает к нему в постельку усиком поморгать, мы видим, что между Белым земным и Белым небесным происходит некое сочетание в браке. Нам является лик человека, завершаемый с обоих концов ногами. Ему уже нет пространства, а есть две тверди. Голова у него уж не верхняя точка, а точка центра, откуда ноги идут как некое излучение. Наш пуп в этом отношении самый наилучший толкователь символа этой головы и о послании нас слить небо с землею. Туловище человека не напрасно разделяется на два световых круга, где верхняя часть от пупа подлежит солнечному влиянию, а нижняя — лунному. Здесь в мудрый узел завязан ответ значению тяготения человека к пространству, здесь скрываются знаки нашего послания, прочитав грамоту которых мы разгадаем, что в нас пока колесо нашего мозга движет луна, что мы мыслим в ее пространстве и что в пространство солнца мы начинаем только просовываться. С теми средствами, с которыми шел футуризм в это солнечное пространство, он мог просунуться так же легко, как и верблюд в игольное ухо, ибо эта радость вознесения была предначертана целыми тысячелетиями до него мистам, не мог просунуться и потому, что существом своим не благословил и не постиг голгофы, которая для духа закреплена не только фактическим пропятием Христа, но и всею гармонией мироздания, где на законах световых скрещиваний построены все зримые и невидимые нами формы. Мист же идет на это пропятие, провидя и терновый венок, и гвоздиные язвы. Он знает, что идущий по небесной тверди, окунувшись в темя ему, образует с ним знак того же креста, на котором висела вместе с телом доска с надписью И.Н.Ц.И.Но он знает и то, что только фактом восхода на крест Христос окончательно просунулся в пространство от луны до солнца, только через голгофу он мог оставить следы на ладонях Елеона (луны), уходя вознесением ко отцу (то есть солнечному пространству); буря наших дней должна устремить и нас от сдвига наземного к сдвигу космоса. Мы считаем преступлением устремляться глазами только в одно пространство чрева; тени неразумных, не рожденных к посвящению слышать царство солнца внутри нас, стараются заглушить сейчас всякий голос, идущий от сердца в разум, но против них должна быть такая же беспощадная борьба, как борьба против старого мира.Они хотят стиснуть нас руками проклятой смоковницы, которая рождена на бесплодие; мы должны кричать, что все эти пролеткульты есть те же самые по старому образцу розги человеческого творчества. Мы должны вырвать из их звериных рук это маленькое тельце нашей новой эры, пока они не засекли его. Мы должны им сказать так же, как сказал придворному лжецу Гильденштерну Гамлет: «Черт вас возьми! Вы думаете, что на нас легче играть, чем на флейте? Назовите нас каким угодно инструментом — вы можете нас расстроить, но не играть на нас». Человеческая душа слишком сложна для того, чтоб заковать ее в определенный круг звуков какой-нибудь одной жизненной мелодии или сонаты. Во всяком круге она шумит, как мельничная вода, просасывая плотину, и горе тем, которые ее запружают, ибо, вырвавшись бешеным потоком, она первыми сметает их в прах на пути своем. Так на этом пути она смела монархизм, так рассосала круги классицизма, декаданса, импрессионизма и футуризма, так сметет она и рассосет сонм кругов, которые ей уготованы впереди.Задача человеческой души лежит теперь в том, как выйти из сферы лунного влияния. Уходя из мышления старого капиталистического обихода, мы не должны строить наши творческие образы так, как построены они хотя бы, например, у того же Николая Клюева:

Тысчу лет и Лембэй пущей правит,  
Осеньщину дань собирая с тварей:  
С зайца шерсть, буланый пух с лешуги,  
А с осины пригоршню алтынов.

Этот образ построен на заставках стертого революцией быта; в том, что он прекрасен, мы не можем ему отказать, но он есть тело покойника в нашей горнице обновленной души и потому должен быть предан земле. Предан земле потому, что он заставляет Клюева в такие священнейшие дни обновления человеческого духа благословить убийство и сказать, что «убийца святей потира». Это старое инквизиционное православие, которое, посадив святого Георгия на коня, пронзило копьем, вместо змия, самого Христа.Средства напечатления образа грамотой старого обихода должны умереть вообще. Они должны или высидеть на яйцах своих слов птенцов, или кануть отзвеневшим потоком в море леты. Вот потому-то нам так и противны занесенные руки марксистской опеки в идеологии сущности искусств. Она строит руками рабочих памятник Марксу, а крестьяне хотят поставить его корове. Ей непонятна грамота солнечного пространства, а душа алчущих света не хочет примириться с давно знакомым ей и изжитым начертанием жизни чрева. Перед нами встает новая символическая черная ряса, очень похожая на приемы православия, которое заслонило своей чернотой свет солнца истины. Но мы победим ее, мы так же раздерем ее, как разодрали мантию заслоняющих солнце нашего братства. Жизнь наша бежит вихревым ураганом, мы не боимся их преград, ибо вихрь, затаенный в самой природе, тоже задвигался нашим глазам, и прав поэт, истинно прекрасный народный поэт, Сергей Клычков, говорящий нам, что

Уж несется предзорняя конница,  
Утонувши в тумане по грудь.  
И березки прощаются, клонятся,  
Словно в дальний собралися путь.

Он первый увидел, что земля поехала, он видит, что эта предзорняя конница увозит ее к новым берегам, он видит, что березки, сидящие в телеге земли, прощаются с нашей старой орбитой, старым воздухом и старыми тучами.Да, мы едем, едем потому, что земля уже выдышала воздух, она зарисовала это небо и рисункам ее уже нет места. Она к новому тянется небу, ища нового незаписанного места, чтобы через новые рисунки, через новые средства, протянуться еще дальше. Гонители святого духа-мистицизма забыли, что в народе уже есть тайна о семи небесах, они осмеяли трех китов, на которых держится, по народному представлению, земля, а того не поняли, что этим сказано то, что земля плывет, что ночь — это время, когда киты спускаются за пищей в глубину морскую, что день есть время продолжения пути по морю.Душа наша Шехеразада. Ей не страшно, что Шахриар точит нож на растленную девственницу, она застрахована от него тысяча одной ночью корабля и вечностью проскваживающих небо ангелов. Предначертанные спасению тоскою наших отцов и предков чрез их иаковскую лестницу орнамента слова, мысли и образа, мы радуемся потопу, который смывает сейчас с земли круг старого вращения, ибо места в ковчеге искусства нечистым парам уже не будет. То, что сейчас является нашим глазам в строительстве пролетарской культуры, мы называем: «Ной выпускает ворона». Мы знаем, что крылья ворона тяжелы, путь его недалек, он упадет, не только не долетев до материка, но даже не увидев его, мы знаем, что он не вернется, знаем, что масличная ветвь будет принесена только голубем — образом, крылья которого спаяны верой человека не от классового осознания, а от осознания обстающего его храма вечности.1918. Сентябрь

**Ф. А. Абрамов.** «Дом» (фрагмент).

2  
Пекашино изрядно обновилось за последние годы. Домов новых наворотили за полсотню. Причем что удивительно! На зады, на пески, к болоту все качнулись: там вода рядом, там промышленность вся пекашинская – пилорама, мельница, машинный парк, мастерские. Смотришь, скорее что-нибудь перепадет. Ну а Михаил плюнул на все эти расчеты – на пустырь, на самый угор, против Петра Житова выпер.  
Зимой, правда, когда снеги да метели, до полудня иной раз откапываешься, да зато весной – красота. Пинега в разливе, белый монастырь за рекой, пароходы двинские, как лебеди, из-за мыса выплывают… А что это за праздник, когда птица перелетная через тебя валом валит! Домой уходить не хочется. Так бы, кажись, и стоял всю ночь с задранной кверху головой…  
Григорий – чистый ребенок, – едва спустились с крыльца, ульнул глазами в скворешню – как раз в это время какой-то оживленный разговор у родителей начался: не то выясняли, как воспитывать детей, не то была какая-то семейная размолвка.  
Благодушно настроенный Михаил не стал, однако, выговаривать брату дескать, брось ты эту ерундовину, – он сам любил говорливых скворчишек, а только легонько похлопал того по плечу: потом, потом птички. Найдется кое-что и позанятнее их.  
Осмотр дома начали с хозяйственных пристроек, а точнее сказать – с комбината бытового обслуживания. Все под одной крышей: погреб, мастерская, баня.  
Петр Житов такое придумал. От него – кто с руками – переняли. В погребе задерживаться не стали – чего тут интересного? Только разве что стены еще свежие, не успели потемнеть, смолкой кое-где посверкивает, а все остальное известно: кастрюли, ведра, кадки, капканы на деревянных крюках, сетки…  
Другое дело – мастерская. Вот тут было на что подивиться. Инструмента всякого – столярного, плотницкого, кузнечного – навалом. Одних стамесок целый взвод. Во фрунт, навытяжку, как солдаты стальные, выстроились во всю переднюю стенку. Да и все остальное – долота, сверла, напарьи, фуганки, рубанки – все было в блеске. Михаил любил инструмент, с ранних лет, как стал за хозяина, начал собирать. И в Москве, например, в какой магазин с Татьяной ни зайдут, первым делом: а где тут железо рабочее?  
Петра заинтересовал старенький, с деревянной колодкой рубанок.  
– Что, узнал?  
– Да вроде знакомый.  
– Вроде… Степана Андреяновича заведенье. Тут много кое-чего от старика. Ладно, – Михаил пренебрежительно махнул рукой, – все эти рубанки-фуганки ерунда. Сейчас этим не удивишь. А вот я вам одну штуковину покажу – это да!  
Он взял со столярного верстака увесистую ржавую железяку с отверстием, покачал на ладони.  
– Ну-ко давай, инженера. Что это за зверь? По вашей части.  
Петр снисходительно пожал плечами: чего, мол, морочить голову? Металлом! И Григорий в ту же дуду.  
– Эх вы, чуваки, чуваки!.. Металлом. Да этот металлом – всю Пинегу перерыть – днем с огнем не сыщешь. Топор. Первостатейный. Литой, не кованый. Вот какой это металлом. Одна тысяча девятьсот шестого года рождения. Смотрите, клеймо квадратное и двуглавый орел. При царе при Николашке делан. А заточен-то как – видите? С одной стороны. Как стамеска. Вот погодите, топорище сделаю да ржавчину отдеру – вся деревня ко мне посыплет. А в руки-то он как ко мне попал, знаете? Охо-хо! У Татьяниной приятельницы подобрал. Орехи грецкие колотит. Это на таком-то золоте!  
Тут Михаил на всякий случай выглянул за двери, нет ли поблизости жены, и заулюлюкал:  
– Ну, я вам скажу, популярность у Пряслина в столице была! У Иосифа да у Татьяны друзья все художники, скульптора… Ну, которые статуи делают. И вот все: я хочу нарисовать, я хочу человека труда, рабочего да колхозника, чтобы по самому высокому разряду… А одна лахудра, – Михаил захохотал во всю свою зубастую пасть, – на ногу мою обзарилась. Ей-богу! Вот надоть ей моя нога, да и все. Ступня, лапа по-нашему, какой-то там подъем-взъем. Дескать, всю жизнь такую ногу ищу, не могу найти. Понимаете? "Да сходи ты к ей, – говорит Татьяна, – она ведь теперь спать не будет из-за твоей ноги. Все они чокнутые…" Ладно, поехали в один распрекрасный день. Хрен с вами, все равно делать нечего. Татьяна повезла в своей машинке. Заходим – тоже мастерская называется: статуев этих – навалом. Головы, груди бабьи, шкилет… Это у их первое дело – шкилет, ну как болванка вроде, чтобы сверку делать, когда кого лепишь. Ладно. Попили кофею, коньячку выпили – вкусно, шкилет тебе из угла своими зубками белыми улыбается… Татьяна на уход, а мы за дело. Я туфлю это сымаю, ногу достаю, раз она без ей жить не может, штанину до колена закатываю, а она: нет, нет, пожалуйста, чистую натуру. Как чистую? Да я разве грязный? Кажинный день три раза купаюсь на даче у Татьяны, под душем брызгаюсь – куда еще чище? А оказывается, чистая натура это сымай штаны да рубаху…  
3  
В баню заходить не стали. Баню без веника разве оценишь? И в дровяник не заглядывали – тут техника недалеко шагнула: все тот же колун с расшлепанным обухом да чурбан сосновый, сук на суку. Прошли прямо к въездным воротам. Михаил уж сколько раз сегодня проходил мимо этих ворот, а вот подошел к ним сейчас, и опять душа на небе.  
Чудо-ворота! Широкие, на два створа – на любой машине въезжай, столбы на века – из лиственницы, и цвет красный. Как Первомай, как Октябрьская революция. И вот все, кто ни едет, кто ни идет – чужие, свои, пекашинцы, все пялят глаза. Останавливаются. Потому что нет таких ворот ни у кого по всей Пинеге.  
И Раиса, которая букой смотрела, когда он их ставил ("На что время тратишь?"), теперь прикусила язык.  
– А в музыку-то мою поиграли? – Михаил с силой брякнул кованым кольцом у калитки сбоку и на какое-то мгновенье блаженно закрыл глаза: такой гремучий, такой чистый звон раскатился вокруг. – Это чтобы без доклада не входить. В городе в звонок звонят, а мы – хуже?  
В это время еще одно кольцо забренькало – у соседей. Калина Иванович из дому вышел – с котомкой, с черным, продымленным чайником, а следом за ним сама.  
– Знаете, нет, кто это? – быстрым шепотом спросил Михаил у братьев. Не знаете? Да это же Калина Иванович! Дунаев!  
– Дунаев? Тот самый Дунаев?  
– Да, да, тот самый!  
– Это о котором статья-то нынешней зимой в "Правде Севера" была? – Петр все еще не мог поверить, чтобы такая знаменитость у брата под самым под боком жила.  
– Статья!.. Одна, что ли, о нем статья была? Шутите: комиссар гражданской войны! Самого Ленина видал…  
Котомка была явно не по старику – его качнуло, обнесло, и Михаил задорно крикнул Евдокии, обхватившей мужа:  
– Держи, держи крепче! Чего ворон считаешь?  
– Замолчи, к лешакам! Без тебя тошно.  
– Видали, видали, какой голосок! Зря, думаете, Дунька-угар прозвали.  
Михаил потащил братьев на соседнее подворье. Прямо через воротца в старой изгороди. С Евдокией – просто. Что ни ляпнул, что ни брякнул, и ладно. Все прошла, все вызнала, где ни бывала, кого и чего ни видала ничего не пристало, ничего не прилипло. Как была баба деревенская, такой и осталась. Даже одежду и ту на деревенский пошиб носила: сарафан, какой сейчас и на самой старорежимной старушонке не всегда увидишь, пояс узорчатый, домашнего плетенья, безрукава… Зато уж с Калиной Ивановичем будь начеку. Вроде бы старичонко, сушина наскрозь просушенная, вроде бы ветошь, как все в его возрасте, да вдруг так сказанет, такую породу выкажет – сразу по стойке «смирно» уши поставишь. И сейчас, когда Михаил все стариковские ранги братьям назвал, ему особенно хотелось показать, что он на равных с Калиной Ивановичем.  
– Куда это навострил лыжи? – с ходу закричал он старику. – Не на Марьюшу?  
– Да, имею такое намеренье.  
– Погодь до завтра. Праздник сегодня. Посидели бы вечерком, у меня братья приехали.  
Тут Калина Иванович полез за очками – худо видел, а охоч был до свежих людей.  
Очки у Калины Ивановича были дешевенькие, железные, с ниточной окруткой над переносьем, но когда он их надел, сразу другой вид стал. Важность какая-то вроде появилась.  
– Очень приятно, очень приятно, молодые люди. – И за руку с обоими.  
– А раз приятно, дак оставайся до утра, – опять начал урезонивать старика Михаил. – Завтра вместе поедем.  
Калина Иванович не очень решительно поглядел на жену.  
У той фарами заполыхали синие глазища.  
– Не поглядывай, не поглядывай! Какие нам праздники? Мы из Москвы чемоданами добро не возим.  
– Во, во дает! – рассмеялся Михаил и подмигнул братьям.  
– Не скаль, не скаль зубы-то! Вишь ведь разъехался! – Евдокия кивнула на усадьбу Михаила. – Не боишься, как раскулачат?  
– Не раскулачат, – ловко, без всякой натуги отшутился Михаил. – Сейчас не старые времена – бедность не в почете. На изобилие курс взят. Я в Москве был – знаешь, как там живут? У нашей Татьяны, к примеру, в хозяйстве сто сорок голов лошадиное стадо.  
– Плети! С коих это пор в городах лошадей стали разводить?  
– Чего плети-то! Две машины – одна у свекра, другая у ей с мужем. Каждая по семьдесят кобыл. Считай, сколько будет.  
Больше Евдокия не слушала. Стащила с мужа котомку, взяла у него из рук чайник, косу, обернутую в мешковину, и на дорогу – саженными шагами работящей крестьянки.  
Калина Иванович еще хорохорился: дескать, надеюсь, молодые люди, увидимся, потолкуем, – а старыми-то руками уже шарил по стене возле крыльца – своего помощника искал.  
Михаил подал старику легкий осиновый батожок – тот на сей раз стоял за кадкой с водой – и, провожая его задумчивым взглядом, сказал:  
– Вот такая-то, ребята, жистянка. Сегодня мы верхом на ей, а завтра она на нас. Н-да…

**В. А. Солоухин.** «Камешки на ладони».

Он шел по родной земле

Книга, которую ты, юный читатель, держишь в руках, написана замечательным русским писателем Владимиром Солоухиным. Известно ли тебе это имя? Лет десять или пятнадцать назад такой вопрос был бы неуместен: книги В. Солоухина издавались постоянно и огромными тиражами. Нынче же русская и особенно советская классика издается мало. Недавно отмечалось 200-летие великого Пушкина, однако даже его обещанного юбилейного Собрания сочинений мы так и не увидели…

Вот и приходится писать предисловие, чтобы объяснить сегодняшнему читателю, кто такой Владимир Солоухин и что им написано.

…В моей домашней библиотеке имеется более десятка книг этого литератора, не считая четырехтомного Собрания сочинений. И авторские подписи на многих из них начинаются словами: «Дорогому другу…» или «Моему давнему другу…».

«Подружил» нас еще в первые послевоенные годы Литературный институт: пять лет мы и сидели за одной партой, и койки наши в институтском общежитии стояли рядом. В одной тумбочке держался и хлеб, который тогда еще был по карточкам. Так что рождение В. Солоухина как писателя, его литературный путь от первых стихотворений до книги «Дождь в степи», которая была его дипломной работой, – все это происходило, можно сказать, на моих глазах. Многие стихи еще до того, как они появлялись в печати, я уже знал или в рукописи, или слышал в авторском исполнении.

Наша дружба не прервалась и по окончании института. Я не раз и не два не только бывал, но и живал по летам в родном селе Солоухина Алепине, что на Владимирщине.

В сельском уединении, на лоне еще с детства близкой нашему сердцу русской природы, мы вели долгие беседы, делились своим творческими задумками. Нам было о чем поговорить!

Еще с институтских времен у нас «прорезался», а затем и утвердился интерес к великому прошлому нашей Родины. И мы любили в своих разговорах возвращаться к событиям отечественной истории, начиная с Киевской Руси, со «Слова о законе и благодати» Киевского митрополита Иллариона и «Слова о полку Игореве»…

Вспоминаю я об этом неспроста. Так или иначе, в той или иной форме, но это потом находило отражение в наших книгах.

Нынче много говорится и пишется о так называемом национальном сознании. Говоря проще, многие умные люди считают, что ничего плохого не будет, если, скажем, русские осознают, почувствуют себя не абстрактными общечеловеками, а именно – русскими, белорусы – белорусами, армяне – армянами. Пусть каждый народ знает свою историю и гордится тем вкладом, который его отчичи и дедичи внесли в общечеловеческую культуру.

И вот для того чтобы мы знали и помнили свою историю и гордились своей принадлежностью к великой нации, В. Солоухиным было сделано очень многое. Им написаны книги: «Черные доски» – о гениальных иконописцах Руси; «Письма из Русского музея» – о великих русских художниках; «Время собирать камни» – о возрождении порушенных очагов культуры на русской земле.

Сегодня восстановлен, возрожден храм Христа Спасителя. Тысячи людей помогали его восстановлению. Но первыми о возрождении храма заговорили русские писатели. И первым из первых в этом деянии был не кто иной, как Владимир Солоухин. Мы печатали свои повести и рассказы и в конце публикаций подписывались: «Прошу гонорар перечислить на возрождение храма Христа Спасителя». А при образовании общественного комитета по возрождению храма Владимир Алексеевич был единогласно избран его президентом.

Русская Церковь высоко оценила его деятельность на этом посту. В 1997 году, по кончине писателя, сам Патриарх отпевал его в еще не достроенном храме. Писатель завещал похоронить его на родной алепинской земле, что и было исполнено. С тех пор каждое лето, в день рождения В. Солоухина, в Алепине отмечаются дни его памяти.

Вот лишь некоторые, но очень яркие биографические данные об авторе этой книги. Вернемся же к тому, как начинал свое вхождение в литературу совсем еще молодой паренек из села Алепина.

Первый сборник стихов «Дождь в степи» – дипломная работа студента Литературного института. В последующие годы одна за другой вышли еще несколько стихотворных книжечек – «Колодец», «Ручьи на асфальте», «Разрыв-трава». И если кому-то из вас попадут в руки эти книжечки, прошу обратить внимание на то, что и самая первая из них, и некоторые последующие открываются стихотворением «Колодец». Что это: авторский недосмотр? Случайность? Нет, конечно. Давайте перечитаем заключительные строки «Колодца»:

…И понял я, что верен он,

Великий жизненный закон:

Кто доброй влагою налит,

Тот жив, пока народ поит.

И если светел твой родник,

Пусть он не так уж и велик,

Ты у истоков родника

Не вешай от людей замка,

Душевной влаги не таи,

Но глубже черпай и пои!

Да это же не что иное, как программа действий на избранном поприще! Программа, которой В. Солоухин следовал всю свою жизнь. Он неустанно черпал из своего светлого поэтического родника и щедро поил душевной влагой миллионы читателей.

Однако, может спросить читатель, почему все о поэзии да о поэзии – книга-то прозаическая?

Наверное, потому, что начинать принято не с конца, а с начала, а в начале были стихи… Да и в Союзе писателей он тоже «числился» по творческому объединению поэтов. Хотя если говорить о широкой литературной известности, то, как это ни странным может показаться, она-то пришла к нему как раз через… прозу.

Выпустив книгу с экзотическим названием «За синь-морями» о поездке в одну адриатическую страну, В. Солоухин отправился в путешествие по родной владимирской земле – пешочком, с рюкзаком за плечами и суковатой палкой в руке. И о том, что ему удалось узнать, увидеть и услышать во время этого довольно длительного путешествия, написал повесть, назвав ее «Владимирские проселки». Вот этими «Проселками» он и стал известен не только во Владимире и Москве, но и в Сибири, и на Курильских островах.

«Проселки» увидели свет в толстом литературном журнале, тираж которого исчислялся сотнями тысяч экземпляров, и вскоре были повторены двухмиллионной «Роман-газетой». Автор получил тысячи – ну-ка попробуйте представить: не сто, не двести, а тысячи! – читательских писем.

Лирические повести «Владимирские проселки» и продолжившая их «Капля росы» положили начало широкой, всенародной известности В. Солоухина.

Переход от стихов к прозе – дело не такое уж и редкое. Но, строго говоря, В. Солоухин никуда «не переходил». Продолжал он писать стихи и после «Владимирских проселков», продолжали выходить и его новые книги прозы. Вряд ли надо усматривать в этом какое-либо творческое раздвоение. Просто с годами накапливался жизненный материал, который мог лечь только в повесть или рассказ, а отнюдь не в стихотворение. Ни упоминавшиеся «Черные доски», ни «Письма из Русского музея» написать стихами тоже невозможно.

Говоря о творческом пути В. Солоухина, особо подчеркнем то, что он как родился поэтом, так и оставался им всю жизнь. Поэтом являл он себя и в прозе. Яркая образность языковой фактуры, завидное богатство ассоциаций и удивительная, неповторимая, чисто солоухинская естественность повествования даже самую серьезную прозу делают поэзией, и едва ли не каждый «камешек на ладони» становится законченным стихотворением в прозе.

И еще одна очень важная черта творчества В. Солоухина – это патриотизм: любовь к своей земле и ее людям. Патриотическое сознание формировалось веками, и не раз об этом с гордостью говорили славные сыны России. Замечательному полководцу Александру Суворову принадлежит, может быть, самое краткое и самое выразительное речение: «Я – русский. Какой восторг!» Пушкин в известном письме П. Чаадаеву писал: «…Клянусь честью, что ни за что на свете я не хотел бы переменить отечество или иметь другую историю, кроме истории наших предков, такой, как нам Бог ее дал».

Многие выдающиеся люди России отмечали талантливость русского народа. Вот и В. Солоухин в своих «Черных досках» и «Письмах из Русского музея», изданных тридцать лет назад, говорит о том же – о неиссякаемой талантливости своих соотечественников, о величии русской художественной культуры.

Эти книги не романы, не повести – это документальные очерки, раздумья писателя о зодчестве, живописи, ваянии – то есть то, что обычно называется публицистикой. Но какая это страстная и в художественном отношении прекрасная публицистика! Попробуйте открыть любую из этих книг и начните читать, уверяю вас: уже не оторветесь. Вы сразу услышите голос доброго и умного собеседника, человека, много знающего и великолепным русским языком рассказывающего о том, что вам вроде бы и знакомо, но, оказывается, знакомо лишь наполовину, а может быть, и того меньше…

«Черные доски» – это старые, написанные триста – четыреста и более лет назад иконы. При написании они покрывались олифой, а она имеет свойство темнеть. По этой причине иконы время от времени подновлялись – на старый, почерневший слой наносился новый. Рублевская «Троица» была покрыта несколькими записями. И вот когда реставратор слой за слоем снимал те записи и доходил до первоначальной – «черная доска» словно бы вспыхивала, краски ее – яркая киноварь, золотистая охра или небесная лазурь – начинали сиять.

Вот так В. Солоухин и книгу свою сумел написать, что его «черные доски» словно бы излучают на читателя горний свет, духовное сияние.

А что за «Письма из Русского музея»? Вполне возможно, что многим из вас еще не пришлось побывать в Русском музее в Санкт-Петербурге – для тех книга будет открытием этого великолепного собрания национальной живописи. Но и для того, кому посчастливилось пройти по залам Михайловского дворца, чтение «Писем» будет пусть и вторым, но опять же открытием. Потому что, вчитываясь в размышления автора о картинах и художниках, их создавших, вы и не заметите, как сами станете вместе с ним тоже размышлять, вникать в глубокий смысл шедевров русской живописи.

По названию третьей в этом же ряду книги «Время собирать камни» уже можно догадаться, о чем она. Да, в послереволюционные годы мы пораскидали немало не имеющих цены «камней» нашей культуры: сколько было разрушено храмов, дворцов, «дворянских гнезд», связанных с именами известных писателей, художников, музыкантов.

В. Солоухин предпринял многочисленные поездки в эти порушенные «гнезда» – в державинскую Званку на Волхове, в аксаковские места в Оренбуржье, в Оптину пустынь, в блоковское Шахматово… И везде он видел печальные картины небрежения и запустения – разбросанные по лику России «камни».

И в новой книге набатным колоколом зазвучал призыв писателя: время собирать камни!

Призыв этот нашел отзвук в самых широких читательских кругах. Автор получил сотни писем. И самое главное – его слово отозвалось делами. Многое из разрушенного восстановлено или восстанавливается.

Воплотилась и еще одна его идея – возрождение главного храма России – собора Христа Спасителя, о чем мы уже говорили.

В последнее время часто цитируют заглавную строку Евангелия от Иоанна: «В начале было слово…» Многозначное, исполненное глубочайшего смысла речение!

Если же применить это к литературному творчеству, то Слово будет наиглавнейшим, наиважнейшим на всем жизненном пути писателя. Художник свои переживания, свои чувства и мысли передает посредством линии и цвета, композитор выражает себя и свое восприятие окружающего мира в музыке. Поэт, писатель может выразить обуревающие его мысли и чувства только в Слове. И, следовательно, первостепенное значение имеет для писателя тот словарный запас, то языковое богатство, каким он располагает, ступая на стезю творения стихов или рассказов, поэм или романов!

По словарному богатству русский язык не имеет себе равных. Но ведь кроме восхищения таким несметным богатством, надо еще уметь им распорядиться, надо знать родной язык во всей его полноте и эти знания использовать в своих сочинениях.

Говорю все это к тому, что среди современников мало таких писателей, которые бы могли равняться с В. Солоухиным и в глубинном знании русского языка, и в умении столь виртуозно владеть им.

Одного прославленного немецкого музыканта спросили: как это ему удается в игре на органе достигать такого необыкновенного совершенства? На что маэстро ответил: «Ничего особенного. Просто я в нужный момент нажимаю на нужную клавишу…»

Вот и В. Солоухин хорошо знал, в какой момент и на какую среди многих сотен, если не тысяч словесных «клавиш» нужно нажать. Потому его стихи и проза звучат то целым оркестром, то владимирским пастушьим рожком, то торжественным органом, то веселой рассыпчатой балалайкой…

Рядом с уже упоминавшимся «Колодцем», в котором еще совсем молодой, двадцатипяти летний, поэт сумел провидеть свое жизненное призвание, мне бы хотелось поставить и такие строки:

Я шел по родной земле,

Я шел по своей тропе…

В. Солоухин побывал во многих странах мира. Но где бы он ни бывал, о чем бы ни писал, он, в сущности, всю жизнь шел родной владимирской землей. Потому что язык, Слово, которым написаны его книги, он впервые услышал и запомнил на всю жизнь в родном Алепине. И благодаря именно своему самобытному и самоцветному солоухинскому Слову, он, пройдя «Владимирскими проселками», вышел на большую дорогу мировой известности.

Если же кому-то последние слова покажутся слишком громкими, я скажу: в далекой Австралии создано Общество любителей русской словесности имени Владимира Солоухина. По-моему, это звучит, и звучит хорошо. Особенно в наше безвременье, когда книжные прилавки завалены низкопробным чтивом, а русский язык вытесняется чужеземной тарабарщиной.

И в заключение, уважаемые читатели, позволю себе высказать доброе пожелание: если вы хотите познать, почувствовать величие и красоту русского языка, его проникновенную художественную силу и обаяние – читайте Владимира Солоухина!

*Семен Шуртаков*

Каравай заварного хлеба

По ночам мы жгли тумбочки. На чердаке нашего общежития был склад старых тумбочек. Не то чтобы они совсем никуда не годились, напротив, они были ничуть не хуже тех, что стояли возле наших коек, – такие же тяжелые, такие же голубые, с такими же фанерными полочками внутри. Просто они были лишние и лежали на чердаке. А мы сильно зябли в нашем общежитии. Толька Рябов даже оставил однажды включенной сорокасвечовую лампочку, желтенько светившуюся под потолком комнаты. Когда утром мы спросили, почему он ее не погасил, Толька ответил: «Для тепла…»

Обреченная тумбочка втаскивалась в комнату. Она наклонялась наискосок, и по верхнему углу наносился удар тяжелой чугунной клюшкой. Тумбочка разлеталась на куски, как если бы была стеклянная. Густокрашеные дощечки горели весело и жарко. Угли некоторое время сохраняли форму то ли квадратной стойки, то ли боковой доски, потом они рассыпались на золотую, огненную мелочь.

Из печи в комнату струилось тепло. Мы, хотя и сидели около топки, старались не занимать самой середины, чтобы тепло беспрепятственно струилось и расходилось во все стороны. Однако к утру все мы мерзли под своими одея лишками.

Конечно, может быть, мы не так дорожили бы каждой молекулой тепла, если бы наши харчишки были погуще. Но шла война, на которую мы, шестнадцатилетние и семнадцатилетние мальчишки, пока еще не попали. По студенческим хлебным карточкам нам давали четыреста граммов хлеба, который мы съедали за один раз. Наверное, мы еще росли, если нам так хотелось есть каждый час, каждую минуту и каждую секунду.

На базаре буханка хлеба стоила девяносто рублей – это примерно наша месячная стипендия. Молоко было двадцать рублей бутылка, а сливочное масло – шестьсот рублей килограмм. Да его и не было на базаре, сливочного масла, оно стояло только в воображении каждого человека как некое волшебное вещество, недосягаемое, недоступное, возможное лишь в романтических книжках.

А между тем сливочное масло существовало в виде желтого плотного куска даже в нашей комнате. Да, да! И рядом с ним еще лежали там розовая глыба домашнего окорока, несколько белых сдобных пышек, варенные вкрутую яйца, литровая банка с густой сметаной и большой кусок запеченной в тесте баранины. Все это хранилось в тумбочке Мишки Елисеева, хотя на первый взгляд его тумбочка ничем не выделялась среди четырех остальных тумбочек: Генки Перова, Тольки Рябова, Володьки Пономарева и моей.

Отличие состояло только в том, что любую нашу тумбочку можно было открыть любому человеку, а на Мишкиной красовался замок, которому, по его размерам и тяжести, висеть бы на бревенчатом деревенском амбаре, а не на столь хрупком сооружении, как тумбочка: знали ведь мы, как ее надо наклонить и по какому месту ударить клюшкой, чтобы она сокрушилась и рухнула, рассыпавшись на дощечки.

Но ударить по ней было нельзя, потому что она была Мишкина и на ней висел замок. Неприкосновенность любого не тобой повешенного замка вырабатывалась у человека веками и была священна для человека во все времена, исключая социальные катаклизмы в виде слепых ли стихийных бунтов, закономерных ли революций.

Отец Мишки работал на каком-то складе неподалеку от города. Каждое воскресенье он приходил к сыну и приносил свежую обильную еду. Красная, круглая харя Мишки с маленькими голубыми глазками, запрятанными глубоко в красноте, лоснилась и цвела, в то время как, например, Генка Перов был весь синенький и прозрачный, и даже я, наиболее рослый и крепкий подросток, однажды, резко поднявшись с койки, упал от головокружения.

Свои припасы Мишка старался истреблять тайком, так, чтобы не дразнить нас. Во всяком случае, мы редко видели, как он ест. Однажды ночью, проснувшись, я увидел Мишку сидящим на койке. Он намазал маслом хлеб, положил сверху ломоть ветчины и стал жрать. Я не удержался и заворочался на койке.

Может быть, втайне я надеялся, что Мишка даст и мне. Тяжкий вздох вырвался у меня помимо воли. Мишка вдруг резко оглянулся, потом, напустив спокойствие, ответил на мой вздох следующей фразой:

– Ну ничего, не горюй, как-нибудь переживем.

Рот его в это время был полон жеваным хлебом, перемешанным с желтым маслом и розовой ветчиной.

В другую ночь я слышал, как Мишка чавкает, забравшись с головой под одеяло. Ничто утром не напоминало о ночных Мишкиных обжорствах. На тумбочке поблескивал тяжелый железный замок.

К празднику Конституции присоединилось воскресенье, и получилось два выходных дня. Тут-то я и объявил своим ребятам, что пойду к себе в деревню и что уж не знаю, удастся ли мне принести ветчины или сметаны, но черный хлеб гарантирую. Ребята попытались отговорить меня: далеко, сорок пять километров, транспорт (время военное) никакой не ходит, на улице стужа и как бы не случилось метели. Но мысль оказаться дома уже сегодня так овладела мной, что я после лекций, не заходя в общежитие, отправился в путь.

Это был тот возраст, когда я больше всего любил ходить встречь ветра. И если уж нет возможности держать против ветра все лицо, подставишь ему щеку, вроде бы разрезаешь его плечом, и идешь, и идешь… И думаешь о том, какой ты сильный, стойкий; и кажется, что обязательно видит, как ты идешь, твоя однокурсница, легкомысленная, в сущности, девочка Оксана, однако по взгляду которой ты привык мерить все свои поступки.

Пока я шел по шоссе, автомобили догоняли меня. Но все они везли в сторону Москвы либо солдат, либо ящики (наверное, с оружием) и на мою поднятую руку не обращали никакого внимания. Морозная снежная пыль, увлекаемая скоростью, перемешивалась с выхлопными газами, завихрялась сзади автомобиля, а потом все успокаивалось, только тоненькие струйки серой поземки бежали мне навстречу по пустынному темному шоссе.

Когда настала пора сворачивать с шоссе на обыкновенную дорогу, начало темнеть. Сперва я видел, как поземка перебегает дорогу поперек, как возле каждого комочка снега или лошадиного помета образуется небольшой барханчик, а каждую ямку – человеческий ли, лошадиный ли след – давно с краями засыпало мелким, как сахарная пудра, поземным снежком.

Назад страшно и оглянуться – такая низкая и тяжелая чернота зимнего неба нависла над всей землей. Впереди, куда вела дорога, было немного посветлее, потому что и за плотными тучами все еще брезжили последние отблески безрадостного декабрьского дня.

По жесткому шоссе идти было легче, чем по этой дороге: снег проминался под ногой, отъезжал назад, шаг мельчился, сил тратилось гораздо больше.

Меня догнал человек – высокий усатый мужик, одетый поверх пальто в брезентовый плащ и закутанный башлыком. Этого небось не продувает. Случайный попутчик шагал быстро, и я старался тянуться за ним, хотя и знал, что для моей «марафонской» дистанции такой темп не годится, что я обессилею раньше, чем доберусь до села.

Ему-то что! Он идет лишь до Бабаева. Скоро он будет дома, а мне идти еще двадцать километров.

Дома самовар поставит ему жена, чайку горяченького. Или, может, достанет из печки щей. Они, конечно, постные, остыли, чуть тепленькие. Но все равно, если взять ломоть хлеба потолще…

Я почувствовал, что желудок мой совершенно пуст и, для того чтобы дойти до дому, я обязательно должен что-нибудь съесть, хотя бы жесткую хлебную корку со стаканом воды. Некоторое время я шел, вспоминая, как однажды, еще до войны, съел с морсом целую буханку хлеба. А то еще, помнится, я варил себе обеды, когда жил не в общежитии, а на частной квартире. Это тоже было до войны. Я шел на базар и покупал на рубль жирной-прежирной свинины. Она стоила десять рублей килограмм. Значит, на рубль доставался мне стограммовый кусок. Эту свинину, изрезав на одинаковые кубики, я варил с вермишелью. Белые кубики плавали сверху, и, когда с ложкой вермишели попадал в рот кубик, во рту делалось вкусно-вкусно… Продавали до войны и сухой клюквенный кисель. Разведешь розовый порошок в стакане кипятку…

Тут у меня в голове гвоздем засела мысль: надо будет у этого мужика, когда он дойдет до своего дома, попросить кусок хлеба, – может, даст. Если есть дом, значит, есть и хлеб в доме. Все же не голодовка теперь. Но вот ведь какая досадная психология! Когда ты сыт и у тебя все есть, ничего не стоит спросить у других людей и хлеба, и еще чего-нибудь. Но когда на этот кусок вся надежда…

«Значит, что же, вроде милостыни получится? «Подайте Христа ради!» Так, что ли? Вовсе не милостыня. Вместе идем. Почему не спросить?»

Однако я-то знал, что мой язык ни за что не повернется, чтобы и вправду в виде милостыни попросить кусок хлеба. «А может, попроситься ночевать? До его деревни километра три да там двадцать. Не дойдешь. А если ночевать пустит, то небось и поесть даст. Факт! Вот жаль, я неразговорчивый человек. Другой на моем месте теперь казался бы ему лучшим другом. Бывают такие говоруны. Теперь он сам бы уговаривал меня зайти к нему переночевать или просто чайку попить. Или, может быть, щей… Они хоть и остыли теперь, чуть тепленькие…»

– Война, брат, переживать надо! – говорил между тем спутник, не сбавляя ходу.

Наверное, мой вид, мое демисезонное пальтишко, моя усталость – наверное, все это возбудило сочувствие, иначе с чего бы это он меня взялся утешать.

– Теперь все переживают. На фронте переживают – смерти ждут каждый момент: здесь матерям да женам за своих страшно – опять переживания. А у кого уж убили, кому «похоронные» пришли, тем и подавно слезы и горе. А мы с тобой еще что! Руки, ноги целы, идем домой, а не где-нибудь в окопе лежим, значит, как-нибудь переживем.

Мне вспомнилось, что точно такой же фразой утешал меня Мишка, сидя на кровати и уминая ветчину с маслом. «Тебе-то что не пережить!» – зло подумал я про спутника. Но все же через некоторое время остыл: «Сердиться мне на него – за что? За что злиться? Что у него дом ближе, чем у меня, или что одет теплее? Я так на него злюсь, – думал я, – как будто я уж попросил хлеб, а он отказал. Или насчет ночлега. Я ведь не спрашивал. За что же злиться? А может, он и хлеба даст, и ночевать пустит, – ничего не известно».

Но и до сих пор я не знаю, как отнесся бы попутчик к моей просьбе насчет хлеба или ночлега, потому что, когда дошли до его деревни, он свернул с дороги на тропинку вдоль домов и сказал мне, дотронувшись до башлыка:

– Ну, бывай здоров! Не падай духом…

Может быть, на полсекунды опередил он меня со своим прощанием. А может быть, если бы и минуту стояли на перепутье, все равно я не осмелился бы спросить, кто знает. Так или иначе – мужик пошел к своему самовару и к своим щам, а я остался один среди ночи, вошедшей теперь в полную силу.

Метель становилась сильнее. Местами колею перемело так, что шагов десять приходилось идти, увязая почти до колен. Радостно было после этого опять почувствовать под ногами твердую опору. Хорошо еще, что в руках была палка, которой я нащупывал дорогу там, где перемело. Когда-то здесь прошла, должно быть, колонна машин, и хоть колею давно замело снегом и узкий санный путь проторился над ней, все же колея существовала, и палка находила ее.

Как ни старался я вообразить, что глаза самой красивой девчонки со всего курса, синие глаза Оксаны смотрят на меня в эту минуту и, значит, надо идти как можно тверже и прямее, не сгибаться под ветром, не поворачиваться к нему спиной, как ни почетна была моя задача принести каравай хлеба ребятам из общежития, ночь взяла свое – мне стало жутко.

Теперь кричи не кричи, зови не зови – никто не услышит. Нет поблизости ни одной деревеньки. Да и в деревнях все люди сидят по домам, ложатся, наверно, спать, прислушиваясь к вою ветра в застрехах, в трубе, в оконных наличниках. Даже если кошка дома, то рады и за кошку, что сидит на стуле возле печки, а не шляется где-нибудь.

Я почувствовал, что, несмотря на холод, неприятная липкая испарина выступила по всему телу и словно бы вместе с ней ушли, улетучились последние силенки. Ноги сделались как из ваты, под ложечкой ощутилась некая пустота, и безразличие овладело мной. Скорее всего, спасло меня то, что не на что было присесть. Если бы я нес хоть пустяковый чемоданишко, то, наверное, сел бы на него отдохнуть и, конечно, заснул: раскопали бы на другой день, наткнувшись на островерхий бугорок снега.

Но присесть было не на что, и я механически шагал, приминая рыхлый снежок и почти не продвигаясь вперед из этой бесконечной ночи к крохотному и недостижимому островку тепла и покоя, где теперь спит моя мать, не зная, что я бреду сквозь метельную темень.

То, что мне не дойти, было ясно. Но в то же время (может быть, единственно от молодости) не верилось, что я в конце концов здесь погибну!

Случится что-нибудь такое, что поможет мне, выручит, и я все-таки дойду, и сяду на лавку около стола, и мать достанет мне с печи теплые валенки, и я наемся, а потом закурю, и ничего не будет слаще той глубокой, той долгожданной затяжки. Нет, что-нибудь произойдет, что я все-таки не останусь здесь навсегда. Ведь это так реально: теплый дом, и мать, и валенки, и еда. Это ведь все существует на самом деле, а не придумано мною. Нужно только дойти – и все. А дома есть и валенки, и, конечно, есть у матери припрятанная на случай махорка…

Вдруг я заметил, что мои ноги (а я глядел теперь только под свои ноги) как бы отбрасывают тень, да и от самого меня простерлась вперед темная полоса. Я оглянулся. Случилось именно самое невероятное, самое чудесное и волшебное: по застарелой колее, беспорядочно разбрасывая свет фар то вправо, то влево, то кверху, то книзу, пробирался настоящий автомобиль! Я еще не знал, какой он: легковой, или полуторка, или трехтонка, или, может быть, «студебеккер», но это безразлично – главное, автомобиль, и свет, и люди, и, как и следовало ожидать, я спасен, я не останусь замерзать в этой заснеженной черноте!

О том, что автомобиль может не остановиться, а проехать мимо, у меня не было и мысли. Он для того только и появился здесь, чтобы подобрать и спасти меня, как же он может не остановиться? Если бы я знал, что он может не остановиться, я бы встал посреди дороги и растопырил руки. А то я шагнул в сторонку и, кажется, даже не сделал самого простого – не поднял руки, настолько очевидно было, что меня нужно подобрать. И вот автомобиль (это оказалась полуторка), разбрасывая снег, проехал мимо меня. Ночь хлынула в пространство, на время отвоеванное у нее человеческим светом, залила его еще более густой, еще более непроглядной темнотой.

Полуторка не ехала, а ползла. В другое время мне ничего не стоило бы нагнать ее пятью прыжками и перекинуть себя через борт, едва коснувшись ногой какого-нибудь там выступа. Но теперь мне показалось, что если я, собрав последние крохи сил, побегу, и вдруг не догоню машину или не сумею в нее забраться, и сорвусь, и упаду в снег, то уж, значит, и не встану. Вот почему я не побежал.

Отъехав шагов двести, машина остановилась. И неудивительно. Удивительно было другое: как она могла оказаться на этой дороге и как она вообще по ней пробиралась?

Я понял, что машина остановилась, когда около нее начало мелькать белое пятно света от электрического фонарика. Я догадался: люди вышли из кабины и осматривают колеса и яму, в которую они провалились.

Вопрос теперь решался просто: кто скорее? Я скорее добреду до машины или машина тронется с места? Иногда мотор начинал рычать усиленно и надрывно, даже стон и свист слышались в его рычании. У меня обрывалось сердце: сейчас пойдет, выкарабкается из ямы! Но рычание стихало, снова мелькал фонарик, и вскоре я стал различать силуэт машины, еще более темной, чем сама ночь.

Когда я добрел до автомобиля, людей около него уже не было. Вот уж снег из-под задних колес долетел до меня – так я приблизился к цели. Вот уж я вижу, как бешено крутятся колеса, стараясь зацепиться хоть за какую-нибудь опору, как дрожит деревянный кузов. Вот уж три метра от кончиков моих протянутых рук до заднего борта, вот уж два, вот уж один метр… Только бы теперь, в эту последнюю секунду, не дернулся, когда я почти ухватился за борт.

Идти три метра к кабине и спрашивать разрешения было мне не под силу. Кое-как я нашарил ногой железный выступ пониже кузова, кое-как перевалился через высокий борт и мешком упал на дно. В эту же секунду автомобиль, зацепившись наконец за что-то, подпрыгнул и дернулся с места.

Застарелая колея, по которой пробирался автомобиль, проходила в четырех километрах от моего дома. Значит, мне надо было уследить момент, выбрать самую близкую к дому точку дороги, чтобы выпрыгнуть из кузова и идти дальше. Но как только я лег на дно кузова, как только почувствовал, что не нужно больше шагать и вообще двигаться, так и задремал. Сколько я дремал, неизвестно. Очнулся же от толчка. Мне показалось, что темные силуэты изб и ветел рядом с дорогой знакомы, что это и есть то самое село, возле которого мне надо выпрыгнуть из кузова: отсюда до моего дома четыре километра. Перевалившись через задний борт, я отпустил руки и упал в снег. Грузовик сразу растворился в метельной темноте. Люди в кабине так и не знают, что подвезли случайного попутчика, больше того, не дали ему замерзнуть.

Приглядевшись к избам и деревьям, к порядку домов, я понял, что грузовик либо увез меня дальше, чем мне нужно, либо куда-нибудь в сторону, потому что деревня, в которой я очутился, была мне совершенно незнакома. Значит, не было у меня выхода, как стучаться в одно из черных окон в надежде, что затеплится оно красноватым огоньком коптилки, и проситься переночевать.

Все избы были мне одинаково незнакомы, все они были для меня чужие, но я зачем-то брел некоторое время вдоль деревни, как бы выбирая, в какую избу постучаться, и неизвестно почему свернул к одной из изб (ничем она не отличалась от остальных, разве что была похуже). Есть, должно быть, у каждой из русских изб эдакое свое «выражение лица», которое может быть либо суровым, либо жалким, либо добрым, либо печальным. Наверное, этим-то подспудным я и руководствовался, выбирая, в какое окно постучать. А может быть, просто понадобилось некоторое время, чтобы собраться с духом и окончательно утвердиться в мысли, что стучать придется неизбежно, так лучше уж не тянуть.

Сначала я постучал в дверь на крыльце, потом, осмелев, потюкал ноготком по морозному стеклу окна. Сквозь двойные рамы не доходило мое тюканье до нутра, до избяного тепла, а, может быть, сливалось с шумом ветра и с разными метельными звуками. Тогда я начал стучать сгибом пальца, и вскоре что-то в глубине дома сдвинулось, скрипнуло, вздохнуло, и голос совсем близко от меня за дверью спросил:

– Вам кого?

– Переночевать бы мне, с дороги сбился, а метель.

– Эко чего придумал! Могу ли я, одинокая баба, мужика ночевать пустить?

– Да не мужик я, ну вроде бы… одним словом, студент.

– Откуда идешь-то?

– Из Владимира.

– Чай, не из самого Владимира пешком?

– То-то что из самого.

Было слышно, что женщина за дверью с трудом вытаскивает деревянный засов из петель, двигает его из стороны в сторону, чтобы скорее вытащить.

Душное избяное тепло, как только я вдохнул его несколько раз, опьянило меня, сразу разморило. Я сидел на лавке не в силах пошевелиться и блаженно озирался по сторонам.

Женщина (ей на вид было лет пятьдесят – пятьдесят пять, – значит, надо считать, что около сорока) достала с печи валенки, а из печки, погремев ухватом, – небольшой чугунок.

– Щи на обед варила. Да теперь уж, чай, остыли, чуть тепленькие.

Сбывалось все, точь-в-точь как представлялось мне, когда я шел еще рядом с незнакомым мужиком! И ломоть хлеба оказался таким же толстым и тяжелым, каким я и ощущал, когда его еще не только не было в моей руке, но и не было никакой надежды на то, что он будет.

Я ел, а тетя Маша (так звали женщину) смотрела на меня, сидя напротив, думая о своем.

– Сколько исполнилось-то? – наконец спросила она.

– Семнадцать.

– Значит, на будущий год, если она не кончится, и тебе туда?

Потом тетя Маша помолчала, как бы решая про себя, говорить ли дальше или уж не говорить, и стала рассказывать. Она рассказывала, а я слушал, закурив после ужина (остался табачок от сына, именно от того самого, про которого она теперь рассказывала). И шли минуты, и шли часы, и проходила за окном метельная военная ночь… И проходила тут жизнь русской женщины, тети Маши, впустившей меня среди ночи и теперь все рассказывающей, рассказывающей, рассказывающей…

Значит, не было случая до этого, чтобы рассказать и облегчить душу. Значит также, я показался ей благодарным слушателем, а то ведь, бывает, и просится из души, а передать это человеку нет никакого желания. И то правда: единственно, чем я мог ответить тете Маше на ее приют и доброту, было мое благодарное слушание.

Она рассказала, что сначала от сына не было никаких вестей, а потом пришло письмо, и писано оно было чужой рукой. Писал Митя о том, что лежит в госпитале в Москве, и звал ее повидаться.

Главная часть рассказа тети Маши состояла из подробного описания всех преград, которые встали перед ней на пути к Москве и которые она по очереди преодолевала. Не так-то просто было попасть в Москву осенью сорок первого года, когда Москва была почти что осажденным городом. Если бы я в то время мог записать эту ее дорогу, а теперь только чуть-чуть подправить, то это была бы целая повесть и не нужно было бы ничего добавлять.

В Москву она все-таки прошла и Митю в госпитале отыскала. Он оказался раненый и, кроме того, весь обмороженный. Тетя Маша как на него взглянула, так сразу поняла, что не жилец. Села возле него, хотела хоть ночь, хоть семь ночей, а просидеть рядом. Ведь и сто просидишь, если последний сын и ночи его тоже последние…

Но сидеть не пришлось: очень уж Митя просил молочка. Он, оказывается, был большой любитель молока и в мирное время в покос или в жнитво выпивал сразу по крынке. И парное тоже любил. С детства еще приучился, чтобы прямо из подойника – кружку молока. «Большая была кружка у нас…» Тут тетя Маша даже принесла эту кружку с кухоньки, чтобы я мог посмотреть, какая она. Кружка была алюминиевая, во многих местах помятая. Может статься, Митя еще мальчонкой играл с ней или, по крайней мере, часто ронял.

Уж если мать сумела добраться до Москвы и даже пройти в самую Москву, то, наверное, она сумела бы достать раненому сыну молока, если бы это было возможно. Но не было молока в Москве поздней осенью сорок первого года. Тетя Маша решила ехать за молоком в свою деревню.

Тут она опять подробно рассказала мне о своих дорожных приключениях: и когда ехала из Москвы в деревню, и когда везла Мите бидон самого жирного коровьего молока. «Я и больше бы захватила. Не испортилось бы. Да в чем же его повезешь?»

Тетя Маша замолчала надолго. И я, оказывается, не ошибся, спросив ее тихим голосом:

– Ну и что же, успел он попить-то или уже не успел?

– Успел, – ответила тетя Маша.

Постлано мне было на печке. Вскоре сквозь подстилку (старый тулуп и байковое одеялишко поверх него) стало доходить до тела устойчивое, ровное тепло кирпичей. Засыпая, я думал: вот шел я вдоль деревни, и все избы были для меня одинаковые. А что затаилось в них, за ветхими бревнами, за черными стеклами окон, что за люди, что за думы, – неизвестно. Вот приоткрылась дверь в одну избу, и оказалось, что живет в ней тетя Маша со своим великим и свежим горем. И уж нет у нее мужа, нет сыновей и, надо полагать, не будет. Значит, так и поплывет она через море жизни одна в своей низкой деревенской избе. И остались ей одни воспоминания. Единственная надежда на то, что особенно вспоминать будет некогда: надо ведь и работать.

Если бы я постучался не в эту избу, а в другую, то, наверно, открыла бы мне не тетя Маша, а тетя Пелагея, или тетя Анна, или тетя Груша. Но у любой из них было бы по своему такому же горю. Это было бы точно так же, как если бы я очутился в другой деревне, четвертой, пятой, в другой даже области, даже за Уральским хребтом, в Сибири, по всей метельной необъятной Руси.

…Утром я без особых приключений добрался до родительского дома. Мать испекла мне большой круглый каравай заварного хлеба. Он от обычного черного хлеба отличается тем, что заметно сластит и немного пахнет солодом.

Переночевав дома ночь, положив драгоценный каравай в заплечный мешок, я отправился обратно во Владимир к своим друзьям в студеном, голодном общежитии.

Оказывается, виноваты были не одна только метель, не одно только то обстоятельство, что я из Владимира вышел не поев как следует и потому быстро обессилел. Оказывается, сами по себе сорок пять километров зимней дороги – нелегкое дело. Когда я прошел двадцать пять километров и вышел на асфальтированный большак и, таким образом, идти мне осталось двадцать километров, я был почти в таком же состоянии, как и в позапрошлую ночь в метель, когда, если бы не случайный грузовик, замерзать бы мне среди снежного поля.

Кроме того, я, должно быть, простудился за эти два дня, и теперь начиналась болезнь. Мне сделалось все безразлично. Какое бы интересное дело, ожидающее меня в будущем, ни вспомнилось, мне казалось оно теперь совсем неинтересным и скучным: не хочу летом купаться в реке, не хочу ходить на рыбалку, не хочу читать книги, не хочу в лесу жечь костер, не хочу ходить в кино и есть мороженое, безразлично мне даже, есть ли на свете Оксана, самая красивая со всего нашего курса синеглазая девчонка. Я давно заметил за собой, что если у меня пропадает интерес ко всему на свете, значит, я начинаю хворать.

Пройдя по асфальту километр, я почувствовал себя совсем плохо и стал поднимать руку тем редким, можно сказать редчайшим, грузовикам, которые время от времени догоняли меня. Некоторое развлечение состояло в том, чтобы считать эти проходящие грузовики и загадывать, который же из них возьмет меня с собой.

Остановился седьмой грузовик (к этому времени я пробрел еще три километра).

– Ну, куда тебе? – грозно спросил шофер, выйдя из кабины. – Спирт есть?

– Нету, какой может быть спирт?

– Табак, папиросы?

– Нету.

– Сало? Э, да что с тобой разговаривать! – Он пошел в кабину. Угрожающе зарычал мотор.

– Дяденька, дяденька, не уезжайте! У меня хлеб есть, заварной, сладкий. Сегодня утром мать испекла.

Мотор перестал рычать.

– Покажи.

Я достал из мешка большой, тяжелый каравай в надежде, что шофер отрежет часть и за это довезет до Владимира.

– Это другое дело, полезай в кузов.

Каравай вместе с шофером исчез в кабине грузовика. Надо ли говорить, что больше я не видел своего каравая. Но, видимо, болезнь крепко захватила меня, если и само исчезновение каравая, ради которого я перенес такие муки, было мне сейчас безразлично.

Ничего не изменилось в общежитии за эти два дня. Как будто прошло не два дня, а две минуты. Ребята оживились, увидев меня, но тут же поняли, что мне не по себе. Я разделся, залез в ледяное нутро постели и только попросил друзей, чтобы они истопили печку и принесли бы из титана кипятку.

– Комендант запер чердак на пудовый замок (эта новость была самой неприятной, потому что я все никак не мог согреться), а кипятку сколько хочешь. Только вот с чем его?.. Да ты из дому-то неужели ничего не принес?

Тогда я рассказал им, как было дело.

– А не был ли похож этот шофер на нашего Мишку Елисеева? – спросил Володька Пономарев.

– Был, – удивился я, вспоминая круглую красную харю шофера с маленькими синими глазками. – А ты как узнал?

– Да нет, я пошутил. Просто все хапуги и жадюги должны же чем-нибудь быть похожи друг на друга.

– Так ты что же, так ничего и не ел целый день? – вдруг догадался Генка Перов. – Хоть бы краюху отломил от того каравая.

– Каравай-то я вам нес: думал, обрадую. Сейчас бы разрезали его на куски. С кипятком…

Тут в комнате появился Мишка Елисеев.

– Слушай, – обратились к нему ребята. – Видишь, захворал человек. Дал бы ему чего-нибудь поесть. Не убыло бы.

Никто не ждал, что Мишку взорвет таким образом: он вдруг начал кричать, наступая то на одного, то на другого. Было видно, что у него изо рта вылетают брызги слюны, и это мне, лежащему в ознобе, было почему-то противнее всего.

– А вы что, проверяли мою-то еду? У меня что, амбары с едой? Я тоже как вы, мне на хлебную карточку тоже четыреста граммов дают. Ишь вы, какие ловкие в чужую суму глядеть! Нет у меня ничего в тумбочке, можете проверить. Разрешается.

При этом он, как мне показалось, успел метнуть хитрый лучик на свой тяжелый железный замок.

Напряженность всех этих дней, усталость, мужик, не позвавший меня ночевать, грузовик, проехавший мимо, горе одинокой и доброй тети Маши, сердоболие, которое вложила мать в единственный каравай заварного хлеба (и думает, что я его буду есть теперь целую неделю), бесцеремонность, с которой у меня взяли этот каравай, огорчение, что не принес его в общежитие, заботы ребят, хотевших покормить меня из Мишкиных запасов, его хитрая бесстыдная ложь – все это вдруг начало медленно клубиться во мне, как клубится, делаясь все темнее и зловещее, июльская грозовая туча. Клубы росли, расширялись, подступали горечью к горлу, застилали глаза и вдруг ударили снизу в мозг темной непонятной волной.

– А вот я и проверю!.. – твердо, как мне показалось, сказал я, поднимаясь с койки и путаясь в сбившемся одеяле.

Говорили мне потом, что я спокойно подошел к печке, спокойно взял клюшку, которой мы крушили обычно тумбочки, и двинулся к Мишке. Мишка сначала метнулся, чтобы загородить свою тумбочку грудью, но, значит, свиреп был мой решительный вид, если все же он уступил мне дорогу и даже отскочил к двери.

Остальное я помню хорошо. Привычным жестом наклонил я тумбочку наискось (отметив про себя, что тяжелая, не в пример тем, с чердака) и опустил клюшку на нужное место.

О, сладость бунта! О, треск и скрежет лопающихся скреп в душе и в мире! Разве дело в размерах? Дело в сути ощущений и чувств. Это была моя Бастилия и те засовы на тех воротах, которые придется еще когда-нибудь разбивать.

Я поднял клюшку и раз, и два, и вот уже обнажилось сокровенное нутро «амбара»: покатилась стеклянная банка со сливочным маслом, кусочками рассыпался белый-белый сахар, сверточки побольше и поменьше полетели в разные стороны, на дне под свертками показался хлеб.

– Все это съесть, а тумбочку сжечь в печке, – будто бы распорядился я, прежде чем снова укрыться легоньким одеялом. Самому мне есть не хотелось, и даже поташнивало. Впрочем, скоро я забылся, потому что болезнь вошла в полную силу.

Мишка никому не пожаловался, но жить в нашей комнате больше не стал. Его замок долго валялся около печки, как совсем ненужный и бесполезный предмет. Потом его унес комендант общежития.

*1961*

|  |
| --- |
|  |

***Резерв на вариативную часть программы – 2 ч.***

**РАЗДЕЛ 3. РУССКИЙ ХАРАКТЕР – РУССКАЯ ДУША (9 ч)**

**Не до ордена – была бы Родина (3 ч)**

На Первой мировой войне

**С. М. Городецкий.** «Воздушный витязь».

Памяти П. Н. Нестерова  
  
Он взлетел, как в родную стихию,  
В голубую воздушную высь,  
Защищать нашу матерь Россию, -  
Там враги в поднебесье неслись.  
  
Он один был, воитель крылатый,  
А врагов было три корабля,  
Но отвагой и гневом объятый,  
Он догнал их. Притихла земля.  
  
И над первым врагом, быстр и светел,  
Он вознесся, паря, как орел.  
Как орел, свою жертву наметил  
И стремительно в битву пошел.  
  
В этот миг он, наверное, ведал  
Над бессильным врагом торжество,  
И крылатая дева Победа  
Любовалась полетом его.  
  
Воевала земля, но впервые  
Небеса охватила война.  
Как удары грозы огневые,  
Был бесстрашен удар летуна.  
  
И низринулся враг побежденный! ..  
Но нашел в том же лютом бою,  
Победитель, судьбой пораженный,  
МОJiодую могилу свою.  
  
Победителю вечная слава!  
Слава витязям синих высот!  
Ими русская крепнет держава,  
Ими русская сила растет.  
  
Их орлиной бессмертной отвагой  
Пробивается воинству след,  
Добывается русское благо,  
Начинается песня побед.  
  
Слава войску крылатому, слава!  
Слава всем удальцам-летунам!  
Слава битве средь туч величавой!  
Слава русским воздушным бойцам!  
  
1914

**Г. М. Иванов.** «О, твёрдость, о, мудрость прекрасная…», «Георгий

Победоносец».

О, твердость, о, мудрость прекрасная  
Родимой страны!  
Какая уверенность ясная  
В исходе войны!

Не стало ли небо просторнее,  
Светлей облака?  
Я знаю: воители горние —  
За наши войска.

Идут с просветленными лицами  
За родину лечь, —  
Над ними — небесные рыцари  
С крылами у плеч.

И если устали, ослабли мы,  
Не видим в ночи, —  
Скрещаются с вражьими саблями  
Бесплотных мечи.

Идущие с песней в бой,  
Без страха — в свинцовый дождь,  
Вас Георгий ведет святой,  
Крылатый и мудрый вождь.

Пылающий меч разит  
Средь ужаса и огня,  
И звонок топот копыт  
Его снегового коня.

Он тоже песню поет,  
В ней — слава и торжество.  
И те, кто в битве падет,  
Услышат песню его.

Услышат в последний час  
Громовый голос побед.  
Зрачкам тускнеющих глаз  
Блеснет немеркнущий свет!

**Н. С. Гумилёв.** «Наступление», «Война».

а страна, что могла быть раем,  
Стала логовищем огня,  
Мы четвертый день наступаем,  
Мы не ели четыре дня.

Но не надо яства земного  
В этот страшный и светлый час,  
Оттого что Господне слово  
Лучше хлеба питает нас.

И залитые кровью недели  
Ослепительны и легки,  
Надо мною рвутся шрапнели,  
Птиц быстрей взлетают клинки.

Я кричу, и мой голос дикий,  
Это медь ударяет в медь,  
Я, носитель мысли великой,  
Не могу, не могу умереть.

Словно молоты громовые  
Или воды гневных морей,  
Золотое сердце России  
Мерно бьется в груди моей.

И так сладко рядить Победу,  
Словно девушку, в жемчуга,  
Проходя по дымному следу  
Отступающего врага.

Как собака на цепи тяжелой,  
Тявкает за лесом пулемет,  
И жужжат шрапнели, словно пчелы,  
Собирая ярко-красный мед.

А «ура» вдали — как будто пенье  
Трудный день окончивших жнецов.  
Скажешь: это — мирное селенье  
В самый благостный из вечеров.

И воистину светло и свято  
Дело величавое войны,  
Серафимы, ясны и крылаты,  
За плечами воинов видны.

Тружеников, медленно идущих  
На полях, омоченных в крови,  
Подвиг сеющих и славу жнущих,  
Ныне, Господи, благослови.

Как у тех, что гнутся над сохою,  
Как у тех, что молят и скорбят,  
Их сердца горят перед Тобою,  
Восковыми свечками горят.

Но тому, о Господи, и силы  
И победы царский час даруй,  
Кто поверженному скажет: «Милый,  
Вот, прими мой братский поцелуй!»

**М. М. Пришвин.**«Голубая стрекоза».

В ту первую мировую войну 1914 года я поехал военным корреспондентом на фронт в костюме санитара и скоро попал в сражение на западе в Августовских лесах. Я записывал своим кратким способом все мои впечатления, но, признаюсь, ни на одну минуту не оставляло меня чувство личной ненужности и невозможности словом своим догнать то страшное, что вокруг меня совершалось.

Я шел по дороге навстречу войне и поигрывал со смертью: то падал снаряд, взрывая глубокую воронку, то пуля пчелкой жужжала, я же все шел, с любопытством разглядывая стайки куропаток, летающих от батареи к батарее.

– Вы с ума сошли, – сказал мне строгий голос из-под земли.

Я глянул и увидел голову Максима Максимыча: бронзовое лицо его с седыми усами было строго и почти торжественно. В то же время старый капитан сумел выразить мне и сочувствие и покровительство. Через минуту я хлебал у него в блиндаже щи. Вскоре, когда дело разгорелось, он крикнул мне:

– Да как же вам, писатель вы такой-рассякой, не стыдно в такие минуты заниматься своими пустяками?

– Что же мне делать? – спросил я, очень обрадованный его решительным тоном.

– Бегите немедленно, поднимайте вон тех людей, велите из школы скамейки тащить, подбирать и укладывать раненых.

Я поднимал людей, тащил скамейки, укладывал раненых, забыл в себе литератора, и вдруг почувствовал, наконец, себя настоящим человеком, и мне было так радостно, что я здесь, на войне, не только писатель.

В это время один умирающий шептал мне:

– Вот бы водицы.

Я по первому слову раненого побежал за водой.

Но он не пил и повторял мне:

– Водицы, водицы, ручья.

С изумлением поглядел я на него, и вдруг все понял: это был почти мальчик с блестящими глазами, с тонкими трепетными губами, отражавшими трепет души.

Мы с санитаром взяли носилки и отнесли его на берег ручья. Санитар удалился, я остался с глазу на глаз с умирающим мальчиком на берегу лесного ручья.

В косых лучах вечернего солнца особенным зеленым светом, как бы исходящим изнутри растений, светились минаретки хвощей, листки телореза, водяных лилий, над заводью кружилась голубая стрекоза. А совсем близко от нас, где заводь кончалась, струйки ручья, соединяясь на камушках, пели свою обычную прекрасную песенку. Раненый слушал, закрыв глаза, его бескровные губы судорожно двигались, выражая сильную борьбу. И вот борьба закончилась милой детской улыбкой, и открылись глаза.

– Спасибо, – прошептал он.

Увидев голубую стрекозу, летающую у заводи, он еще раз улыбнулся, еще раз сказал спасибо и снова закрыл глаза.

Прошло сколько-то времени в молчании, как вдруг губы опять зашевелились, возникла новая борьба, и я услышал:

– А что, она еще летает?

Голубая стрекоза еще кружилась.

– Летает, – ответил я, – и еще как!

Он опять улыбнулся и впал в забытье.

Между тем мало-помалу смерклось, и я тоже мыслями своими улетел далеко, и забылся. Как вдруг слышу, он спрашивает:

– Все еще летает?

– Летает, – сказал я, не глядя, не думая.

– Почему же я не вижу? – спросил он, с трудом открывая глаза.

Я испугался. Мне случилось раз видеть умирающего, который перед смертью вдруг потерял зрение, а с нами говорил еще вполне разумно. Не так ли и тут: глаза его умерли раньше. Но я сам посмотрел на то место, где летала стрекоза, и ничего не увидел.

Больной понял, что я его обманул, огорчился моим невниманием и молча закрыл глаза.

Мне стало больно, и вдруг я увидел в чистой воде отражение летающей стрекозы. Мы не могли заметить ее на фоне темнеющего леса, но вода – эти глаза земли остаются светлыми, когда и стемнеет: эти глаза как будто видят во тьме.

– Летает, летает! – воскликнул я так решительно, так радостно, что больной сразу открыл глаза.

И я ему показал отражение. И он улыбнулся.

Я не буду описывать, как мы спасли этого раненого, – по-видимому, его спасли доктора. Но я крепко верю: им, докторам, помогла песнь ручья и мои решительные и взволнованные слова о том, что голубая стрекоза и в темноте летала над заводью.

**Загадки русской души (3 ч)**

Долюшка женская

**Ф. И. Тютчев.** «Русской женщине».

Вдали от солнца и природы,  
Вдали от света и искусства,  
Вдали от жизни и любви  
Мелькнут твои младые годы,  
Живые помертвеют чувства,  
Мечты развеются твои… И жизнь твоя пройдет незрима,  
В краю безлюдном, безымянном,  
На незамеченной земле, -  
Как исчезает облак дыма  
На небе тусклом и туманном,  
В осенней беспредельной мгле…

1848 г.

**Н. А. Некрасов.** «Внимая ужасам войны…»

Внимая ужасам войны,  
При каждой новой жертве боя  
Мне жаль не друга, не жены,  
Мне жаль не самого героя.  
Увы! утешится жена,  
И друга лучший друг забудет;  
Но где-то есть душа одна —  
Она до гроба помнить будет!  
Средь лицемерных наших дел  
И всякой пошлости и прозы  
Одни я в мир подсмотрел  
Святые, искренние слезы —  
То слезы бедных матерей!  
Им не забыть своих детей,  
Погибших на кровавой ниве,  
Как не поднять плакучей иве  
Своих поникнувших ветвей…

1855 г.

**Ю. В. Друнина.** «И откуда вдруг берутся силы…»

И откуда  
Вдруг берутся силы  
В час, когда  
В душе черным-черно?..  
Если б я  
Была не дочь России,  
Опустила руки бы давно,  
Опустила руки  
В сорок первом.  
Помнишь?  
Заградительные рвы,  
Словно обнажившиеся нервы,  
Зазмеились около Москвы.  
Похоронки,  
Раны,  
Пепелища…  
Память,  
Душу мне  
Войной не рви,  
Только времени  
Не знаю чище  
И острее  
К Родине любви.  
Лишь любовь  
Давала людям силы  
Посреди ревущего огня.  
Если б я  
Не верила в Россию,  
То она  
Не верила б в меня.

**Ф. А. Абрамов.** «Золотые руки».

В контору влетела как ветер, без солнца солнцем осветило.

— Александр Иванович, меня на свадьбу в Мурманск приглашают. Подруга замуж выходит. Отпустишь?

— А как же телята? С телятами-то кто останется?

— Маму с пенсии отзову. Неделю-то, думаю, как-нибудь выдержит.

Тут председатель колхоза, еще каких-то полминуты назад считавший себя заживо погре-бенным (некем подменить Марию, хотя и не отпустить нельзя: пять лет без выходных ломит!), радостно заулюлюкал:

— Поезжай, поезжай, Мария! Да только от жениха подальше садись, а то чего доброго с невестой нерепутает.

Председатель говорил от души. Он всегда любовался Марией и втайне завидовал тому, кому достанется это сокровище. Красавицей, может, и не назовешь и ростом не очень вышла, но веселья, но задора — на семерых. И работница… За свои сорок пять лет такой не видывал. Три бабенки до нее топтались на телятнике, и не какая-нибудь пьяная рвань — семейные. И все равно телята дохли. А эта пришла — еще совсем-совсем девчонка, но в первый же день: «Проваливайте! Одна справлюсь». И как почала-почала шуровать, такую революцию устроила — на телятник стало любо зайти.

Мария вернулась через три дня. Мрачная. С накрепко поджатыми губами.

— Да ты что, — попробовал пошутить председатель, — перепила на свадьбе?

— Не была я на свадьбе, — отрезала Мария и вдруг с яростью, со злостью выбросила на стол свои руки: — Куда я с такими крюками поеду? Чтобы люди посмеялись?

Председатель ничего не понимал.

— Да чего не понимать-то? Зашла на аэродроме в городе в ресторан перекусить чего, думаю, два часа еще самолет на Мурманск ждать, ну и пристроилась к одному столику — полно народу: два франта да эдакая фраля накрашенная. Смотрю, а они и есть перестали. — И тут Мария опять сорвалась на крик: — Грабли мои не понравились! Все растрескались, все красные, как сучья — да с чего же им понравятся?

— Мария, Мария…

— Всё! Наробилась больше. Ищите другую дуру. А я в город поеду красоту на руки наво-дить, маникюры… Заведу, как у этой кудрявой фрали.

— И ты из-за этого… Ты из-за этих пижонов не поехала на свадьбу?

— Да как поедешь-то? Фроська медсестрой работает, жених офицер сколько там будет крашеных да завитых? А разве я виновата, что с утра до ночи и в ледяную воду, и в пойло, и навоз отгребаю… Да с чего же у меня будут руки?

— Мария, Мария… у тебя золотые руки… Самые красивые на свете. Ей-богу!

— Красивые… Только с этой красотой в город нельзя показаться.

Успокоилась немного Мария лишь тогда, когда переступила порог телятника.

В семьдесят пять глоток, в семьдесят пять зычных труб затрубили телята от радости.

**В. М. Тушнова.** «Вот говорят: Россия…»

Вот говорят: Россия…  
Реченьки да березки…  
А я твои руки вижу,  
узловатые руки,  
жесткие.  
Руки, от стирки сморщенные,  
слезами горькими смоченные,  
качавшие, пеленавшие,  
на победу благословлявшие.  
Вижу пальцы твои сведенные, —  
все заботы твои счастливые,  
все труды твои обыденные,  
все потери неисчислимые…  
Отдохнуть бы, да нет привычки  
на коленях лежать им праздно…  
Я куплю тебе рукавички,  
хочешь — синие, хочешь — красные?  
Не говори «не надо», —  
мол, на что красота старухе?  
Я на сердце согреть бы рада  
натруженные твои руки.  
Как спасенье свое держу их,  
волнения не осиля.  
Добрые твои руки,  
прекрасные твои руки,  
матерь моя, Россия!

1962 г.

**О ваших ровесниках (2 ч)**

Взрослые детские проблемы

**А. С. Игнатова.** «Джинн Сева».

***Анна Игнатова****– детский писатель. Окончила РГПУ им. А.И. Герцена, работала учителем русского языка и литературы. Лауреат конкурса имени Ренаты Мухи (2012), финалист Детской международной премии В.П. Крапивина (2013). Первая книга, сборник стихотворений «О слонах, троллейбусах и принцах», вышла в 2011 году. Живет в Санкт-Петербурге.*

– Так ты джинн?

– Ага.

– И чего… желания исполняешь?

– Ну… Ага.

– Офигеть…

Я уже ущипнула себя за руку, несколько раз протерла глаза, потрясла головой и даже легонько постучала поварешкой по лбу. Джинн никуда не исчез, а, наоборот, уселся на табуретку, закинул ногу на ногу и спросил:

– Чаю можно?

Ничего себе сходила в магазинчик. Соку захотела. Апельсинового. Недаром мама говорит, что меня в магазин отправлять – себе дороже.

Джинн сперва еще колыхался, как желе, хлюпая и булькая, а потом вполне себе сформировался в дяденьку восточной внешности, в белых штанах и оранжевой майке. На голове – чалма, очень похожая на апельсин. На ногах – почему-то клетчатые домашние тапочки. Черные усики над губой, бороды нет. «Не Хоттабыч», – подумала я.

Пакет с надписью *J7* стоял на столе. Конечно, в нем не было ни капли сока. Оставалось пить только чай.

– Зеленый будете? – спросила я, переходя на «вы». Одно дело – тыкать неоформленной субстанции, взвившейся из пакета, и другое дело – взрослому в клетчатых тапках.

– Ага, – снова сказал джинн.

Не поворачиваясь к нему спиной, я шагнула к раковине и повернула ручку фильтра. Полилась тонкая струйка как бы чистой воды. Я подставила чайник:

– А… как вас зовут?

– Сева, – ответил джинн и показал на коробку.

– А… я думала, джинны в старинных сосудах сидят…

– По-разному, – охотно объяснил Сева. – Свободных старинных сосудов теперь мало, их в музеи сдали. А в музее нормальный джинн сидеть не будет.

– Почему? – спросила я.

В голове был горячий туман. В ушах – вата. Вода перелилась через носик чайника. Я выключила фильтр, криво закрыла чайник крышкой и поставила на газ. Очень хорошо в такие моменты совершать обыкновенные, простые действия…

– А в музеях руками трогать ничего нельзя, – развел руками Сева. – Никто не будет тереть кувшин, никто джинна не выпустит. Так и просидишь тыщу лет с дурацкой табличкой «Амфора из дворца царя Филиппа, IV век до н. э.». А она вовсе и не четвертого века, а пятого и не из дворца, а из дома напротив, где вином торговали.

Сева вздохнул и замолчал. Я вежливо покивала.

– А пакеты ничего, комфортные, – продолжил джинн и почесал плечо. – Форма стандартная, удобная. Коробка – она и есть коробка, ни тебе узкого горлышка, ни вмятин от ручек… Знаешь как впиваются? И ста лет не высидишь.

– А… сколько вы в соке сидели?

– Да недолго, – неопределенно махнул рукой Сева. – Это тоже плюс, кстати. Люблю вылезать часто. Общение люблю. Слушай, а бутербродов у тебя нет? Можно с сыром.

Я снова вежливо кивнула и пошла в коридор к холодильнику. Так, вот сыр, масло, вот остатки ветчины, прихвачу на всякий случай. Вот пачка сосисок…

Туман в голове начал рассеиваться. Какой ловкий джинн! Вылез и сидит себе нога на ногу. А я ему чай готовлю, бутерброды. Это джинн должен мои желания исполнять, а не наоборот! И вообще, надо еще посмотреть, что он может! Вот чай себе сделать не может, например, меня просит. Тоже мне джинн! Так и каждый вылезет из коробки – привет, я джинн, давайте чай. А сам ничего и не умеет.

Я вернулась на кухню с продуктами, взяла с подставки ножик побольше и стала нарезать сыр.

– Долго как чайник закипает, – покосился на плиту Сева. – Много воды налила, он так целый час закипать будет.

– А вы его своим волшебством вскипятите, – посоветовала я.

Он же меня еще и критикует, кулинар!

Джинн удивленно посмотрел на чайник, потом на меня:

– Волшебством – жалко, волшебство для дела понадобится. Ты ведь не хочешь свои желания потратить на домашнюю работу? Я, конечно, могу чай сделать, пол помыть, пыль вытереть… Надо?

– Не надо, – быстро сказала я. – Вот вам бутерброд.

Пока Сева жевал, я соображала. Желания… Вся загвоздка в этих желаниях. Вечно у всех обломы с неправильными желаниями. Меня всегда раздражала девочка Женя из «Цветика-семицветика». Так бездарно потратить семь… ну ладно, шесть желаний. Да и седьмое можно было бы получше загадать, если честно. А то все на свете игрушки ей подай, а всех на свете детей вылечить она не догадалась.

Нет уж, я не буду такой дурой. Я всё сама приготовлю, уберу, посуду помою, мне не трудно. И материальные разные желания типа денег, машины, новенького айфона и тэ пэ – это фигня. Это и без чудес получить можно. А вот именно чтоб чудеса волшебные…

На столе все еще стояла пустая коробка из-под апельсинового сока. Я ее взяла и хотела бросить в мусорное ведро, как примерная хозяйка.

– Э, погоди, ты что делаешь? – с набитым ртом замычал Сева. – Куда понесла? Поставь на место!

Я повертела в руках пустую коробку, пожала плечами и поставила ее обратно на стол.

– Не выкидывай, дура, – не очень-то вежливо сказал джинн. – И смотри, чтобы мама не выкинула. Я в ней спать буду.

– Спа-ать?! А удобно?..

– А удобно в квартиру постороннего человека привести и в своей комнате поселить на неопределенный срок, объяснив родителям, что это джинн из сока?

А что, дельно… Я как-то не подумала. Сева явно соображает, это приятно.

– Я ее смяла немножко, – провела я рукой по зеленым стенкам с апельсинами. – Может, тебе другую купить?

Джинн Сева внимательно посмотрел на меня и вдруг заулыбался:

– Заботливая, это хорошо. Это я удачно попал. Не, другую не надо. Уйду в другую – от тебя уйду и ничего не исполню. Так что пользуйся, пока я здесь. – Он вытянул губы трубочкой и шумно отхлебнул чаю.

Чудеса все-таки…

Уроки не лезли в голову. Какие уроки, какие графики квадратных уравнений, когда за моей спиной на диване сидит джинн Сева и наигрывает на гавайской гитаре финскую польку?!

Коробка из-под сока стояла у батареи. Сева заявил, что любит спать в тепле, желательно на печке.

– Сева, а можно у вас спросить?.. – Я отложила ручку и тетрадь по математике.

– Ну наконец-то! – Сева тоже отложил гавайскую гитару. – Я уже испугался, что за клиентка такая нелюбопытная попалась. Даже скучно! Давай, спрашивай!

Он уселся по-турецки и уставился на меня не мигая.

– А вот… скажите, пожалуйста, а почему вы просто Сева? Вы же джинн. Вы должны быть какой-нибудь там Гасан ибн Абдурахман или еще какой-то ибн. Ну, чтобы по-восточному было и по-старинному.

– Ишь ты, придира какая, – удивился джинн. – Сева ей не годится! Для вас же стараюсь, для вашего региона. Чтобы имя привычное было. А ей не нравится! Мне, может, твое имя тоже не очень. Виктория Викторовна! Масло масляное.

Я надулась и отвернулась к недоделанному графику. Сева снова взялся за польку.

– А больше ничего спросить не хотела? – подал он голос через минуту.

Соскучился, то-то же.

Я старательно высчитывала координаты функции и только помотала головой. Пусть не выпендривается и разговаривает как следует с дамами! Мое имя – моя гордость, между прочим! И означает оно двойную победу!

– Ладно, не дуйся, прикольное у тебя имя, – пошел на попятную Сева. – Предки с фантазией, молодцы. Двойная победа и все такое. Правильно гордишься.

Меня в жар кинуло. Он что, мысли читает? Ой, я же имени своего ему не называла!

– Читаю маленько, – кивнул Сева. – Но ты не волнуйся, это не считается за волшебство. Ты желания придумала?

– А сколько можно загадать? – спросила я.

– Вот! Это вопрос по делу. Значит так. Я сегодня добрый, чай был вкусный, масла на бутерброд ты не пожалела, можешь загадать четыре желания. – И он поднял растопыренную пятерню с загнутым большим пальцем.

– А вы разве сами количество желаний назначаете? – Я развернулась к дивану на своем любимом синем крутящемся стуле.

Сева посмотрел вокруг и демонстративно заглянул под диван.

– Ясен пень, сам. Ты видишь тут еще кого-то? Я нет. Сам назначаю, сам исполняю, сам жалобы от клиентов выслушиваю. А не захочу – вообще ничего не исполню. Если мерзавец попадется, фигушки я что-нибудь сделаю для него.

– Но как же так? – У меня в памяти всплыли всякие фильмы и мультики про джиннов, лампы Аладдина, золотые рыбки, Емелины щуки. – Разве вы не обязаны…

– Обязан? – фыркнул Сева. – С чего это? Я первый раз в жизни вижу этого болвана и чем-то ему обязан? Вот еще.

– Но как же, он ведь вас выпустил на свободу! Избавил от тысячелетнего заточения! По всем законам вы обязаны его слушаться, почитайте сказки!

Я реально возмутилась. У всех есть обязанности, в конце концов!

Джинн тяжело вздохнул и стал похож на нашего учителя математики, вызвавшего меня к доске.

– Ох, ну что за сказочные предрассудки! Ну какое тысячелетнее заточение в пакете сока! Да я эти пакеты меняю как маршрутки. Просто я джинн, добросовестный и ответственный, ясно? Мое дело – исполнять желания, и я их исполняю. Но не все же, ясен пень! Я фрилансер, могу выбирать! Начальства у меня нет, годовых отчетов нет. Вопросы есть? А может, тебе кажется, что четыре желания – это мало за маленькую чашку зеленого чая и средний бутербродик с сыром?

Я покраснела. Я всегда краснею, когда меня обвиняют.

– Да нет, нормально… – пробормотала я.

– Точно нормально? – нахмурился Сева.

– Точно… – еще гуще покраснела я. – Очень даже хорошо. Роскошные условия, честно.

– И я не жмот?

Мои щеки стали свекольными. Про жмота я нечаянно подумала, совершенно случайно! Я стала думать про чудесную щедрость и сказочное везение.

– То-то, – строго сказал Сева. – И давай думай поживей. Только не торопись.

Мне сказочно повезло. Теперь главное – правильно пожелать.

Мы с папой устроились в гостиной на диване и смотрели биатлон. Мы обожаем биатлон. Такие они там все быстрые, красивые, румяные! Ногами толкаются, руками упираются! В подъем – раз-раз-раз! Со спуска – вж-жух! А как драматично стреляют! Бац – попал! Бац – мимо! И весь стадион – ах! Зрители с ума сходят, в дудки дудят, флажками размахивают. Мы с папой на диване подпрыгиваем. Сколько волнения, сколько праздника! Вокруг пейзажи сказочные: горы, небо синее, склоны елками утыканы, как свечками. Эх, туда хочется…

Хочется! Вот чего мне хочется! Ужасно хочется! Никаких сомнений. Когда я туда еще попаду? А можно прямо сейчас!

До старта женского спринта оставалось десять минут. Комментатор со смешной фамилией Областной раскачивал зрителей своими нелепыми цитатами и намеками на близкое общение с нашей женской сборной. Каждая биатлонистка была у него зверьком или птичкой: зайчиком, мышкой, ласточкой, лошадью… И все красавицы, конечно. Интересно, как бы он меня назвал?

– Сева! – позвала я шепотом, входя в комнату. – Сева, друг…

– Какой я тебе друг? – раздалось из-под батареи. – Дверь закрой.

Я плотно закрыла дверь.

– Ну, надумала?

Из пакета вопреки всем анатомическим нормам торчала взрослая усатая голова.

– Надумала! – засияла я. – Только не тяни, там скоро старт!

– Подумаешь, старт… Успеешь наглядеться. Они целый час стартовать будут. Еще надоест смотреть-то.

Сева стал появляться из коробки. Шея, плечи, руки… Вот он сложил пальцы правой руки для щелчка…

– Погоди! – завопила я громче комментатора Областного. – Постой. Слушай, а можно туда не зрителем попасть…

– А кем? – уставился на меня Сева.

– Ну… этим, как называется, самым таким… – Я не решалась произнести свое желание, которое было, наверное, очень наглым. Или нормальным? Чудеса так чудеса!

Можно было и не произносить, ведь джинн читал мысли.

– Чемпионкой мира, что ли? – усмехнулся он. – Да пожалуйста. Время действия ставлю два часа. Вернешься – разбуди, расскажешь, как было…

Сева зевнул и втянулся обратно в пакет.

По рукам и ногам побежали мурашки. Стало щекотно, будто я бутылка с лимонадом, которую встряхнули, и во мне туда-сюда летают пузырики.

– Эй, а папе что сказать? – успела крикнуть я.

– Папе всегда правду надо говорить, – глухо проворчал Сева. – Скажи, что…

Я не дослушала и взорвалась миллионами пузырьков.

Первое, что я увидела, – синее небо и ослепительный снег на вершине. Альпы… Первое, что я услышала, – голос Областного, который орал, казалось, прямо в уши: «Первым номером пойдет наша легкокрылая, легконогая стрекозка, наше чудо, внезапно свалившееся на нас, можно сказать, с неба…» В этот раз его нелепые комментарии попали в десятку – не поспоришь. Значит, к зверюшкам и птичкам добавились насекомые, так-так.

Шум, гам, музыка, в глазах рябит. Зрители имена чемпионов выкрикивают, тренеры ходят хмурые, спортсменки разминаются. Все такие яркие, такие гладкие, такие блестящие, как рыбки… Ой, вот же эта знаменитая немка, та самая! Мамочки, могу потрогать за рукав… Какая она смешная, оказывается, маленькая такая! А вот чешка с медными волосами! Улыбается, как в рекламе. Ну правильно, в любой момент папарацци снять могут. Тут надо быть всегда готовой, в носу не поковыряешь… А какие перчаточки, какие штанишки… А я-то в чем? Не в домашнем платье, надеюсь? Нет, я тоже в костюмчике! Ух ты, какой красивенький, какой скользкий! Сиреневый. И номер на груди – 1. Ну, Сева, молодец, ничего не скажешь! Ай да джинн! Так, срочно делать селфи! 

– Вика, ты готова? – рявкнули сзади.

Я обернулась. Ко мне шел толстый мужчина в красно-синей куртке. Наверное, мой личный тренер.

– Чего ты здесь торчишь? Ты очипилась? Бегом на старт, чтоб тебя!.. Ты вообще размялась или дурака валяешь? Проверь патроны! Да шевелись, чучело! С тебя медаль сегодня, слышишь? Я Круглову снял, тебя поставил! Давай, девочка, давай, работай, работай! Поправку на ветер поняла какую делать? Три минуты до старта! Ноги в лыжи!

А где лыжи-то?! Ах, да вот же, в руке у меня! Я нагнулась, чтобы положить их на снег, и обнаружила на плечах лямки. Винтовка. Ничего, легкая, раз я ее не сразу заметила. Ну, значит, и патроны где-то здесь, потом найду. Я же чемпионка, правильно? Я знаю, где патроны лежат.

С креплениями вышла заминка. У меня дома крепления с такой кнопочкой, а тут кнопочки нет… Как ботинок вставить, непонятно.

– Давай, Виктория, что ты возишься? – подскочил толстый тренер, поднял какие-то штучки на креплениях, помог встегнуться. – Что, переволновалась? Соберись, соберись! На тебя вся надежда! Круглову я снял, ты же знаешь!

Эх, джинн Сева, специалист, не мог мне крепления сделать знакомыми? Вот балда. Ладно, спишем на волнение. Я же чемпионка. Сейчас как побегу… Ноги-руки у меня чемпионские должны быть!

Из-за всей этой суеты даже не посмотреть вокруг! Альпы же!

– Первый номер на старт, второй – приготовиться. Раз, два, три… Старт!

– Давай, давай, давай! – разом оглушили меня несколько голосов.

И я пошла. Меня папа немножко научил коньковому ходу и говорил, что у меня уже неплохо получается. На одной ноге скользишь, вторую поднимаешь. Скользишь – поднимаешь… Скользишь… Ой, запнулась, чуть не упала. Палка воткнулась между лыж, нечаянно. Винтовка по спине елозит, зараза. Не такая уж и легкая… Уф, что-то я запыхалась.

Через две минуты, когда меня, чемпионку, обогнала четвертая участница и улетела вперед, я поняла, что влипла. Ноги-руки были мои родные, только костюмчик чемпионский. И эти мои руки-ноги уже здорово устали, а проехали не больше двухсот метров. Стадион сначала затих, потом я услышала смешки, кто-то крикнул: «Она под кайфом!» А что говорил Областной, я старалась не слушать.

Едва кончился стартовый коридор, едва я ушла со стадиона и стала забираться на первую горку (получалось только елочкой, лыжи вверх не ехали), ко мне подскочил тренер. На мое счастье, он не мог говорить. Он просто пыхтел, как и я. Молча он дернул меня за руку и стащил с трассы на обочину.

– Другим… не мешай!.. – наконец смог он произнести. Потом сорвал со спины винтовку, отобрал палки и дрожащим пальцем показал на лыжи. Я мигом расстегнула крепления, дрыгнула ногами, и лыжи откатились в кювет.

– Вон… пошла… из команды вон… уйди… – задыхался бедный толстяк.

Мне его стало ужасно жалко. Бедненький, он же не виноват…

– А вы скажите, что я сильно заболела, – посоветовала я.

– Я скажу, что ты умерла! – со всей силы рявкнул тренер.

 Я сиганула за дерево, потом за другое, за третье. Петляя между елками, как заяц, убралась подальше от тренера и от трассы.

Ну, джинн Сева, я тебе устрою через два часа!

– А ты чего хотела? – искренне удивился джинн, развалившись на диване.

Сидит как ни в чем не бывало, нога на ногу, клетчатой тапочкой качает!

Я даже потеряла дар речи, как мой тренер, от такой наглости!

– Я же тебе ясно сказала – быть чемпионкой! По биатлону!

– И чего – в мишень не попала, что ли? – ухмыльнулся Сева.

– Да я до мишени и не добралась, какая мишень вообще! – Я была в бешенстве.

Два часа пряталась на склоне в елках, замерзла, как сосулька, а он издевается! У меня одно желание уже израсходовано, и никакого толку! Прямо как та дура Женя из «Семицветика»…

– Я же бегать на лыжах не умею, как они!

– Да ну? – удивленно захлопал глазами Сева. – А чего ж ты туда поперлась?

– Так я просила меня чемпионкой сделать!

Стукнуть его, что ли?

– А я что, не сделал? – возмутился Сева. – Первый номер, личный тренер. Костюмчик! Альпы! А бегать – это ты давай сама, я же не могу тебе чужие руки-ноги пришить.

Стукнула все-таки! По плечу. Как будто шлепнула по луже. А рука стала мокрая и липкая, вся в апельсиновом соке. Сева захихикал.

– Какой ты все-таки вредный, – захныкала я, облизывая руку. – Ты нарочно меня подставил. Друзья так не поступают!

Джинн встал с дивана (никаких пятен от сока на диване не осталось, между прочим), прошелся по комнате, потянулся:

– А кто сказал, что мы друзья? Я тебе не друг. Я просто джинн. Не воображай, пожалуйста. Лучше думай, что ты еще пожелаешь. И не тяни. Я решил срок установить. Либо я за два дня еще три твоих желания исполняю, либо они сгорят, как неиспользованный лимит в конце месяца. Время пошло.

Я решила посоветоваться с Иркой. Она всегда была очень практичной. И сообразительной. Она точно знала, чего хочет. Даже в столовке никогда не раздумывала, а моментально ставила на поднос блюдца и тарелочки с самым лучшим соотношением цена/качество. А я постоянно зависала над каждым салатиком. Поставлю на поднос – через минуту поменяю на другой… Нет, с такими метаниями и сомнениями желания джинну загадывать нельзя.

Я Ирке все рассказала по-честному. Как раз мы сидели в столовке на большой перемене. Ирка хрустела капустой (для фигуры полезно) и внимательно слушала.

Потом спросила:

– Что, и прямо в Альпы?

– Клянусь! – горячо зашептала я. – Два часа там провела! На снегу, под елками, а вокруг горы…

– Интересно… значит, тебя в прямом эфире показывали? Ну, на старте? Виктория Королёва – объявляли?

– Ну да, конечно… – Я растерялась.

Действительно, меня же все должны были видеть по телевизору! Меня папа должен был видеть! А он мне ни слова не сказал…

– Ну и супер, – спокойно сказала Ирка. – Мы в архиве эту запись найдем и всё увидим. Лучшее доказательство твоей правоты, ок?

Я же говорю, Ирка – голова, с ней не пропадешь. Я так боялась, что она не поверит, а она даже не напрягается, вру я или не вру. Доказательство же есть.

Ирка тут же достала смартфон и стала гуглить вчерашний женский спринт. Сама она не болельщица, прямой эфир вчера не смотрела.

Минуты две она елозила пальцами по экрану, жала на ссылки, хмурилась и хмыкала. Потом отложила смартфон и вернулась к салату из капусты.

– Странно, – спокойно сказала она, размеренно хрустя салатом. – Ни одну запись не посмотреть. Все видео убраны модераторами.

Я похолодела и одновременно покраснела:

– Ирочка, клянусь, это не я…

– Конечно, не ты, – снисходительно улыбнулась Ирка. – Ты же не хакер. Вероятно, твой Сева постарался. После школы идем к тебе. Знакомиться.

После школы пришли ко мне.

Коробка с апельсиновым соком, прикрытая занавеской, стояла у батареи.

– Испортится, – сразу сказала практичная Ирка.

– Да вот оно и видно. Характер у него ужасный, – согласилась я. – Но он сам попросил к батарее поставить, сказал, любит в тепле спать.

Я не понимала, верит мне Ирка или нет, но на всякий случай говорила с ней так, будто она верит.

Ирка уселась на мой любимый синий стул и покрутилась вправо-влево.

Я поставила коробку *J7* на стол и слегка постучала по нарисованному апельсину.

– Сева, выходи! – позвала я неуверенно. – Я тебя вызываю…

Ирка крутилась на стуле, ничего особенного не ожидая. Я почувствовала себя идиоткой.

– Се-ва! – позвала я погромче. – Выходи, пожалуйста.

И сильнее постучала по коробке. Потом потерла ее пальцем. Никакого эффекта.

Ирка смотрела на меня с интересом.

– Ну я же говорю, характер ужасный… – пробормотала я и опять покраснела.

Сейчас Ирка решит, что я врушка и бездарная фантазерка, выдумываю глупые истории… Ужасно обидно. Ну, погоди, Сева… – Я побежала на кухню, схватила с сушилки большую кружку и вернулась в комнату. – Если ты сейчас не выйдешь, – заорала я на пакет к Иркиному удовольствию, – я тебя налью в кружку и выпью, понял?

Секунду я выждала, затем брякнула кружкой об стол, схватила Севу в пакете и стала отвинчивать крышку.

Едва я сделала первый оборот, как пакет шевельнулся. Крышка отскочила, из белого отверстия показалась пятерня.

– Привет! – булькнули из пакета.

Ирка взвизгнула и перелетела со стула на диван. Ну наконец-то!

– Выходи давай, – уже мягче попросила я. – И тапочки не забудь. Я тебя знакомить буду.

Из маленького отверстия, как мыльный пузырь, выросла голова Севы. Я-то уже привыкла, но вообще зрелище не для слабонервных. Ирка опять завопила.

– Здрасьте… – улыбнулась голова, прищурившись.

– Это Ира, моя подруга, – показала я на диван.

– Желания на подруг не распространяются, – быстро заявил вредный джинн. – Все равно всё ты будешь загадывать.

– Да и пожалуйста, подавись своими желаниями, – ответила я. – Я вас просто познакомить хочу. Да вылези ты наконец! Видишь, человеку на тебя в таком виде смотреть неприятно!

Джинн стал появляться из пакета, не особенно торопясь. Эффектничал, гад. Вылез, потом ухмыльнулся: «Ой, тапочку забыл!» – сунул внутрь руку и с громким чпоканьем вытащил клетчатую тапку. А вчера, между прочим, без всяких чпоканий выходил и ничего не забывал.

– Знакомься, Ира, это Сева…

– Джинн Сева, – добавил джинн с интонацией Джеймса Бонда и подвигал бровями.

– Он мысли умеет читать, – предупредила я. – Так что думай про него всякую всячину, не стесняйся. Вот как я.

Сева обернулся ко мне и покачал головой:

– Что я тебе сделал-то? Зачем обзываться?

Ирка все-таки молодец, быстро успокоилась. Встала с дивана, руку Севе протянула:

– Ирина Боброва.

Джинн с удовольствием вцепился в Иркину ладонь и долго тряс.

– Весьма приятно… Очень рад… Не ожидал… Такая честь… Счастлив знакомством… – забормотал он всякую чушь.

Ирка выдернула мокрую липкую руку и беспомощно посмотрела на меня. Я достала из ящика стола пачку влажных салфеток.

– Держи. У меня теперь всегда салфетки под рукой.

Джинн прошелся по комнате, хлюпая на каждом шагу, но не оставляя никаких пятен.

– Ну-с, девоньки! – радостно потер он свои апельсиновые руки. – Устраивайте мозговой штурм и загадывайте поскорее три желания. Завтра в полночь срок годности сока истекает, я в другую коробку переметнусь.

И противно захихикал, паразит.

Мы с Иркой перешли на кухню и поставили чайник. А Севе велели сидеть в комнате, чтобы не вмешивался со своими ехидными замечаниями. И чтобы мысли не читал.

– Ну, что посоветуешь, Ирочка? Я уже боюсь и загадывать, после вчерашнего… – сказала я, доставая чашки с охотниками и рыбаками, мои любимые. Я из такой чашки всегда пью мятный чай, когда мне надо подумать.

Ира спокойно (и когда успела успокоиться!) намазала булку абрикосовым вареньем и ответила:

– А чего тут думать? Дворец надо желать.

– Дворец?! – поразилась я.

– Конечно. В наше время недвижимость получить можно только через ипотеку или по волшебству. Ну хорошо, не дворец, но дом загородный со всеми удобствами, охраной, поваром, горничной, личным шофером…

– Погоди, погоди! – остановила я Ирку. – Ты уверена, что это будет считаться за одно желание?

– А почему бы нет? – пожала плечами Ирка.

– Не будет! – злорадно крикнули из комнаты. – Раскатали губу… Дом – отдельно, шофер – отдельно!

– Эй, не подслушивать там! – сурово оборвала джинна Ирка. – Мы еще только план составляем. Мы еще ничего не решили.

– И потом, – зашептала я, хотя шептать с этим Севой было бесполезно – все равно все услышит, – в каком месте дом? Какой? Сколько комнат? А системы всякие коммуникационные? А водопровод, канализация? С ним, с паразитом, надо все мелочи предусмотреть. Поставит дом где-нибудь в Калужской области или вообще на Камчатке, без туалета и без ванны, скажет: «Крыша есть, труба есть, окна есть – значит, дом! Живите!»

В комнате забулькали от смеха.

– Знаешь, он какой формалист! – Я перестала шептать и заговорила в полный голос. – Совершенно безответственный джинн!

– Это кто еще безответственный?.. – начал было возмущаться за стенкой Сева.

– А ну цыц! – не поворачивая головы (много чести!), железным голосом заткнула его Ирка.

Молодчина она, ничего не скажешь, смелая! Первый раз джинна видит и так свободно на него цыкает!

Сева заткнулся.

Мы попробовали прикинуть на бумаге план дома, чтобы ничего не забыть (теплые полы, фильтр для воды, сушильный шкаф, будку для будущей собаки…), но быстро устали и бросили это дело, все равно без специалиста не обойтись… И родителям может не понравиться идея с переездом. Квартира у нас хорошая, удобная, большая, недавно отремонтированная… А вдруг она пропадет, пойдет в счет этой загородной виллы? Тьфу, ну его, этот дом, страшно связываться.

– Так-так, – задумалась Ирка и уставилась на кружку с рыболовом, который греб себе и горя не знал. – А давай тогда что-нибудь общественно полезное загадаем? Например, чтобы солью снег больше не посыпали?

– Так зима скоро кончится, уже середина марта… А до следующего снега ждать скучно. И потом, как проверить?

– Тоже мне, ОТК! – фыркнули из комнаты. Но мы уже не цыкали. Нам было не до него. Мы поняли, что работы будет много. Полчаса сидим и даже одного желания не придумали! А надо придумать целых три.

– О, я знаю! – вскочила я с табуретки. – Давай про всех людей загадаем, чтобы у них зубы никогда не болели!

Джинн притих и не выпендривался, это был хороший признак. А что, по-моему, гениальное желание!

Только Ирка почему-то тоже притихла, а не прыгала от восторга.

– Что, чем плохо? – не поняла я.

Тут не могло быть никаких подвохов, очень нужное и общественно полезное желание!

– Да ничем… – проговорила Ирка, разглядывая рыбака на своей пустой кружке. – Только у меня мама стоматолог, она без работы станется. Клевое желание.

Ах ты ж, ну что же делать?! Что же загадать-то? Чтобы настоящее волшебное?

Мы решили составить список из всего, что придет в голову, а потом повычеркивать всякую неволшебную ерунду и оставить три самых-самых желания.

Вот что у нас получилось:

хочу собаку

котенка

горностая

броненосца

хочу летать

пусть в меня влюбится Денис Чернышов (зачеркнуто) Дима Полянин (зачеркнуто) Андрей Брусникин (зачеркнуто) тот парень из десятого класса, который носит ярко-голубые рубашки… (все зачеркнуто) – да ну их всех, не надо!

хочу быть самой красивой в классе (зачеркнуто) в школе (зачеркнуто) в мире, но кроме Африки, Индии, Якутии, Монголии… (все зачеркнуто) густые волосы и красивые глаза, как у газели (все зачеркнуто) – не, не надо!

хочу знать десять европейских языков

хочу знать квантовую физику

хочу написать стихи, которые все будут знать (зачеркнуто) очень хорошие (зачеркнуто) которые все выучат наизусть, потому что они нравятся

хочу уметь собирать кубик Рубика

хочу плавать баттерфляем (быстро)

хочу сняться в фильме с Хабенским

хочу поехать в Шотландию со своей подругой (Ирой Бобровой)

хочу поехать в Грецию

во Францию

в Канаду

хочу получить Нобелевскую премию за что-нибудь

хочу поймать крокодила

чтобы уроки начинались на час позже и не было нулевых занятий

хочу есть сколько влезет и не толстеть

хочу уметь танцевать танго

всегда выигрывать в шахматы у папы (зачеркнуто) у всех

хочу…

Мы выдохлись. За стеной джинн Сева играл на гавайской гитаре аргентинское танго и громко топал ногой в такт.

– Идея! – воскликнула Ирка. – Пошли на улицу. В народ. Народная мудрость – это сила! Спросим у трех первых попавшихся прохожих, чего они хотят, и все дела!

Аргентинское танго оборвалось, Сева выразительно заиграл «Степь да степь кругом…».

Вернулись с улицы мы через десять минут. Первые трое прохожих на нас даже не посмотрели, четвертый сказал: «Не хулиганьте, девочки!», пятый вздохнул: «Чтобы с глупыми вопросами не приставали», а шестая тетенька приняла нас за представителей депутата и стала подробно перечислять, что надо в первую очередь сделать в нашем микрорайоне. Мы уже скрылись в подъезде, а она все кричала: «И урну на остановке поставить!»

Ирка посидела еще немного у меня и пошла домой. Уроков много задали, особенно по русскому. Сочинение по картине какого-то Бориса усатого…

Папа после ужина предложил сыграть в шахматы. Сыграли. Я, конечно, проиграла… Папа так самодовольно расставлял фигуры для новой партии, что я не выдержала! Отлучилась в комнату на минуточку, поговорила с джинном и вернулась обратно.

– Ну что, еще партейку? – весело спросил папа.

– Давай! – решительно сказала я. А сердце так и колотится! Что получится? Я все ясно Севе растолковала: у всех и всегда выигрывать!

Начали. Через два хода папа «зевнул» слона, еще через три проиграл ферзя, а через семь очень глупых ходов папа… сдался.

– Ну что, еще партейку? – весело спросила я.

– Ну давай… – тихо согласился папа.

Начали. Папа «зевал» направо и налево, проигрывал фигуры, и очень скоро я загнала его короля в угол. Мои слоны чуть его не растоптали.

– Может, тебе фору дать, пап? – произнесла я фразу, которую всегда мечтала сказать.

Папа удивленно смотрел на доску и бормотал:

– Странно… Почему я сделал такой дурацкий ход?

Мне стало грустно. Опять этот Сева все по-своему понял! Не меня умной сделал, а папу – дураком. Беда с этим джинном, просто руки опускаются!

Я вернулась в комнату:

– Сева! Я отменяю желание! Оформляй возврат! Возвращай папе его шахматные способности!

– Это мы запросто! – пулей выскочил из коробки джинн, будто ждал моих слов. – Без проблем. Только пойдет в счет третьего желания, лады?

Вот жулик! Ни за что желание отнял. Да и ладно, мне не жалко. Папа уж очень грустный…

Последнее желание осталось.

Я промучилась весь следующий день и решила остановиться на густых волосах или десяти европейских языках. Или нет… Хочу броненосца, точно. Хоть увижу, что это за зверь. А впрочем, лучше собаку. Да, пусть будет собака! Хотя сняться в фильме с Хабенским еще лучше… А может, и нет. Если у меня не окажется таланта, все будут меня ругать, как тот тренер. И Хабенский тоже скажет что-нибудь неприятное…

Поздно вечером, когда до полуночи оставалось десять минут, позвонила Ирка. Я забралась с трубкой под одеяло.

– Слушай, – зашептала она мне в ухо. – Ты еще не загадала ничего? У меня идея. Желание стопроцентное, не подкопаешься. Запоминай! Пускай никто ни с кем никогда не воюет и будет миру мир, а? Как тебе? Это полезнее, чем зубы!

Я же говорила, что Ирка не подкачает! Классное желание! Нет, честно, без дураков. Никаких бомб, никаких снарядов, никаких горячих точек во веки веков. Атомных взрывов больше не будет, черных развалин вместо домов. Будет сплошной мир, цветы и музыка, котята и броненосцы, шахматные турниры и чайные чашки с рыбаками. Всё будет хорошо и навсегда. Сева, ну-ка, ты все равно читаешь мои мысли, давай, приступай к исполнению! А то сейчас наверняка бомба какая-нибудь взорвется. Давай быстрее делай мир во всем мире!

У батареи раздалось хлюпанье, сопение, чпокнула тапочка – Сева выбрался наружу.

– Мне-то что, я могу, – развел он руками в темноте. – Только продержится это недолго… Бесполезная трата последнего желания. А бесполезная потому, – ответил на мои мыслиСева, – что через пять минут кто-нибудь загадает желание в войне победить, и всё. Твой мир будет аннулирован, как противоречащий войне. Нельзя одновременно не воевать и победить.

– Как же аннулирован?.. – Я глядела на джинна во все глаза. – Почему аннулирован? Почему чья-то война важнее моего мира?..

– Да не важнее, – устало объяснил джинн. – А просто наступает очередь следующего желания, которое отменяет твое желание, если оно мешает, вот и всё. Вы логику в школе проходили? А информатику?

Я покачала головой и всхлипнула.

– Минута до полуночи, – сказал Сева. – Хочешь собаку? Или котенка?

Я опять покачала головой.

– Нет уж. Не надо собаку. Давай чтобы мир. Пусть он хоть пять минут продержится, неважно. Зато кого-то не убьют, может быть.

Сева вздохнул, сел на край дивана и погладил меня по голове. Рука у него была сухая и теплая.

– Спи, Виктория Викторовна, двойная победа. Я выполнил все твои желания, можешь отдохнуть. А я пошел…

Он не встал с дивана, не шевельнулся, он продолжал сидеть и только начал таять потихоньку, делаться тоньше, прозрачней.

У меня был джинн, у меня было целых четыре желания, а я так ничего и не придумала, и не сделала! Девочка Женька со своим семицветиком оказалась сообразительнее меня, она хоть Витю вылечила… Мне бы подготовиться, подумать…

– Сева, погоди, – попросила я. – Погоди, пожалуйста, минуточку. Две секундочки!

Он перестал таять и ждал, что я скажу. Сквозь него был виден мой любимый синий стул.

– Сева, какой сок ты больше всего любишь?

– Апельсиновый, – улыбнулся он.

– Я тоже… Мы увидимся еще?

Сева ничего не ответил. Только подмигнул мне почти прозрачным глазом и совсем растаял, вместе с тапочками.

На столе остался полный пакет апельсинового сока.

Меня редко посылают что-нибудь купить. Мама говорит, меня в магазин отправлять – себе дороже. А тут отправили за мукой и сметаной. Муку я быстро выбрала, а над сметаной, конечно, зависла. Сколькипроцентную брать? Пятьсот граммов или триста? Полосатый стакан или голубой?..

– Ай! – завопила женщина в углу, где напитки. – Ты видел, видел?

– Что видел? – ответил недовольный мужской голос. – Что ты орешь на весь магазин?

– Ай! Ну вот же! – еще громче завопила она. – Пакет, смотри, на нем апельсин подмигивает!

Я уронила сметану на пол и бросилась к сокам.

– Что ты выдумываешь… – буркнул мужчина.

Я уже стояла у полки с фирмой *J7*и глядела во все глаза на пакеты. Ну… Ну давай же, Сева…

Круглый желтый апельсин на упаковке крутанулся и подмигнул мне желтым веселым глазом.

**Н. Н. Назаркин.** «Изумрудная рыбка» (главы «Изумрудная рыбка»

**Изумрудная рыбка**

Пропала зеленка. И во всем виноват Серый. То есть он, конечно, не виноват. Но все равно. Кто дал зеленку Юрке? Серый и дал.

И сказать ему ничего нельзя. Потому что он посмотрит только — а как не дать, если человек серьезно просит? — и все. Я бы сам дал, и это самое обидное.

И Юрке тоже вмазать нельзя. Потому что он тоже не виноват. Он дурак просто. Оставил зеленку на тумбочке, прямо так, на виду, а Лине Петровне как раз приспичило зайти спросить про эту дурацкую температуру. Кто в больнице температуру меряет, я вас спрашиваю? Только тот, кому от градусника не уйти. Вон Шурик из четвертой палаты меряет, потому что бабушка рядом. А так — все равно ведь в больнице лежишь, вылечат, если надо. Еще им температуру мерить!

Вот так оно и случилось. Лина Петровна зеленку увидела — цап! — и в карман. Потому что медикамент. Не положено.

А нам что делать? Без зеленки — все, капец. Без зеленки над нами весь пятый этаж ржать будет. Потому что бесцветная рыбка — это позор. Это даже хуже, чем вообще не красить. Лучше бы, как малыши какие, сплели из «сырой» капельницы…Рыбок из капельниц плетут, чтоб вы знали. Длинные, тонкие, желтые, почти прозрачные трубочки — давай, плети, если фантазия есть. А если еще уговорить новенькую процедурную сестру дать всю «системку»: с надутыми баллончиками фильтров, с манжетами-«резинками», с толстыми тупыми иглами-«воздушками»…

Только учтите, что если плести просто так, как первоклашка какой, то раздует вашу рыбку и перекосит — жуть. Тут подготовка нужна.

Ну вот, доподготавливались. Зря мы с Толиком эту дурацкую капельницу на спинку кровати натягивали, чтоб растянулась, просохла и побелела. Зря мы ходили на пятый тащить недостающее прям из-под носа у «пятачков»…

— Может, рыцаря сплетем? — говорит Толик.

— Рыцаря… На рыцаря три фильтра нужны, а мы все фильтры уже променяли. Кто ж знал-то?

— А может… — говорит Серый и замолкает.

Кроме рыцаря и рыбки, мы умеем плести только чертиков. Но чертик — это даже не плетение, баловство одно: чурбачок — туловище, кубик — голова, подрежь торчащие концы до нужной длины — вот тебе и руки, и ноги, и рога с ушами. А уж вставить глаза да хвост и скрепить все это вместе толстой «воздушкой» — даже уметь не надо…

Поэтому Серый и замолкает. Ему нечего предложить, потому что предлагать нечего. А не предложить он не мог, потому что чувствует себя виноватым. И за зеленку, и за то, что нам не помогал. Хотя тут он ну совсем не виноват: у него левая рука в корсете, а с одной рукой — какой из него помощник?..

Мы сидим в коридоре, в тупичке за ординаторской. Здесь стоит какая-то пальма, а за пальмой — подоконник. Толик все время дергается — у него почки. И если Лина Петровна заметит, что мы тут на подоконнике сидим, сразу начнется: «Да ты простынешь, да тебя продует, да о чем ты только думаешь!..»

О рыбке он думает. С этими почками он уже почти двенадцать лет живет, потерпят они как-нибудь пять минут.

Но зеленки нет. А значит, покрасить капельницу нельзя. И вместо воображаемой нами в мечтах роскошной изумрудной рыбки — чешуя внахлест, глаза кругами, а плавники и хвост накрутить на карандаш! — получим мы дурацкого бесцветного карася. А тут какие-то почки да температуры…

Надо что-то решать.

— Кажется, я в поликлинике зеленку видел, — говорит Толик.

Поликлиника — это первый этаж нового корпуса. Но днем нам туда нельзя: приспичит этим докторам, а нас на месте нету, — а вечером она закрыта.

— Давайте бабу Настю попросим? — в отчаянии предлагает Серый.

— Она скажет, что мы замажем этой зеленкой весь пол, а ей — оттирай, — говорю я.

Мрачно говорю, потому что положение наше ужасное. А в ужасном положении нужно решаться на крайние меры.

— Вот что, — говорю я. — Делать нечего. Надо добыть зеленку. Зеленка есть у той рыжей из двенадцатой палаты…

Все молчат. Потому, что двенадцатая палата — это пятый этаж. Идти в логово «пятачков» — даже в девчачью палату — не хочется.

— Я пойду, — говорит Серый.

Ему ужасно хочется что-нибудь сделать.

А мы молчим. Потому что нам не хочется идти к «пятачкам».

— Я пошел, — говорит Серый.

…Зеленку он приносит через полчаса. Хмурый.

— Вот, — говорит Серый. — Саша ее зовут. Красьте давайте и режьте…

И мы стали красить и резать. Красить — ничего трудного: налей зеленку в капельницу, зажми концы да покрути, чтоб размазалось хорошенько. Ну, и лишнее слить и просушить.

Сушили мы тут же, за батареей. Тут никто не найдет и тепло.

Резать — хуже. Резать надо по длине, чтоб сделать из трубки ленту — длинную, гибкую ленту.

Изумрудную ленту.

Серый только смотрел и хмурился. Он все переживал, что из-за него чуть все не сорвалось.

— Не переживай, — сказал Толик. — Все равно это наша рыбка.

Серый промолчал.

— А чего ты той рыжей наврал, чтоб она тебе зеленку дала? — говорю я.

— Что живот расцарапал, — говорит Серый.

И лицо у него такое грустное, словно у него и впрямь живот болит.

Я молчу. В больнице нет хуже, чем про болезнь для выгоды соврать. Но ведь он для нас соврал! Без зеленки нам все! Капец!

Пока сплели — семь потов сошло, как говорит баба Настя. Не знаю, с меня, по-моему, вдвое больше. Но сплели.

Подвесили на ту же пальму — полюбоваться. Рыбка висит, покачивается, свет на боках играет…

А веселья нет. Не изумрудная рыбка у нас получилась. Так, зеленая просто…

А Серый вообще не смотрит.

— Нет, — говорит Толик. — Дурацкая какая-то рыбка эта…

И мы разошлись. Серый ушел последним. Он сжимал эту дурацкую рыбку в кулаке, и я знал, о чем он думает: отнести ее той глупой рыжей Саше из двенадцатой палаты или просто поскорее выбросить…

**«Ах, миледи!»**

Самое худшее в больнице – это заболеть. Когда не кровотечение или еще что нибудь такое нормальное, а грипп дурацкий. То есть если заболел – то это еще ничего. Хуже всего, когда температуру контролируют. И если там какие нибудь несчастные тридцать семь и пять – все, в бокс.

Боксы – это карантинное отделение у нас на втором этаже. Палатки такие, только маленькие. На одного или двух. И никуда не пускают! То есть совсем никуда. Лежи себе на койке и медленно умирай. Не от гриппа, конечно, а от скуки.

А все Павличек виноват! Я знал, конечно, что он жлоб и маменькин сынок, но что он самый жлобистый жлоб из всех жлобистых жлобов на свете – этого не знал. Ну что ему стоило дать мне «Мушкетеров» дочитать? Я же быстро читал и чай не ставил на книжку – разве я виноват, что у меня этот дурацкий грипп нашелся? «Ты в боксе, наверное, до той недели пролежишь, а меня должны скоро выписать…» Бе бе бе! Нянечкин любимец. Не зря его баба Настя так зовет: «Па авличек!» Тьфу, а я тут мучаюсь…

В боксе нас двое. Я и Васильченко. Это он так представился. Воображает, наверное, что взрослый. А сам на год примерно меня старше. Ну, или на два. Так что я тоже сказал: «Кашкин». А чего он?!.

Вечер уже. Таблетки нам раздали, температуру записали. Тут с этим строго, пока не спадет – ни за что не выйдешь. Сиди тут, даже без книжки.

Скоро отбой. Эх…

– Чего приуныл, друг Кашкин? – спрашивает Васильченко.

– Ничего, – говорю. – Ничего я не приуныл.

– А я вот приуныл, – сообщает мне Васильченко. – Завтра пятница, друг Кашкин. А значит, должна прийти Светка и принести бинокль. А я тут.

– Настоящий? – заинтересовался я. – Бинокль?

– Ну уж не игрушечный, друг Кашкин, – усмехнулся Васильченко.

Я сразу начал ему завидовать, что у него есть настоящий бинокль. Это ж можно запросто Проксиму Центавра, наверное, увидеть! Я про нее до «Мушкетеров» читал. Тоже ничего, хотя «Мушкетеры», конечно, здоровскее. А чтобы он не догадался, что я завидую, я спросил:

– А чего ты меня «друг Кашкин» называешь?

– А как же тебя еще называть? – удивился Васильченко. – Монсеньор, что ли? Нет, это тебе не подходит.

– Ты тоже «Мушкетеров» читал? – спрашиваю.

– Конечно, – говорит счастливый человек Васильченко. – А ты разве нет?

– Эх, – вздыхаю я. – Мне там немножко осталось. Только этот Павличек, жлоб жлобистый, книжку зажал с собой дать!

– Вот оно что! – понимающе кивает Васильченко. – Сочувствую, друг Кашкин. Неприятное дело.

– Еще какое, – уныло продолжаю я. – Совсем ведь чуть чуть осталось! Они там как раз миледи голову отрубили! А я…

– Погоди, – изумляется Васильченко. – Так ты ничего не знаешь?!

– Чего не знаю? – подозрительно спрашиваю я.

– Там же как раз всё самое интересное начинается! – говорит Васильченко и ложится на кровать, глядя в потолок. Словно ему совершенно неинтересно.

Ну, и я молчу. Я Пашке и Серому уже сто тыщ историй сам рассказал. Я знаю, что рассказывать куда больше хочется, чем слушать.

Так мы немножко молчим. А потом Васильченко говорит:

– Ладно уж, расскажу я тебе, что там дальше было.

– Давай, – соглашаюсь я.

Гад он все таки. Еще бы немножко – и я стал бы просить, как маленький прям.

– Так вот, слушай, – Васильченко понижает голос.

Верхний свет уже выключили, теперь только два ночника горят и лампа в коридоре – ее через стекло над дверью видно. И луна в окне. Белая.

– Миледи отрубили голову… И ты думаешь, что так всё и закончилось?

– А что же еще? – спрашиваю я.

– Ха ха ха, – зловеще говорит Васильченко. – Самое главное только начиналось. Они там закопали тело и голову отдельно. И уехали. Но голова не умерла! Она выбралась на поверхность и полетела к Ришелье!

– Как это? – говорю я.

– Вот так это, – говорит Васильченко. – Она летала только по ночам, ее длинные белокурые волосы развевались от ветра, а на щеке у нее было теперь кровавое клеймо! В виде лилии! А когда она уставала, она залетала в окна домов к спящим и…

Васильченко выразительно замолчал.

– Да ну! – неуверенно возразил я. – Там же в книжке совсем чуть чуть оставалось…

– Эх ты, друг Кашкин, – протянул Васильченко. Голос у него стал точь в точь как у моей старшей сестры, когда она что нибудь знает, а я нет. Ненавижу такой голос. – Разве ты не знаешь, что к «Мушкетерам» еще целых два продолжения есть?

Этого я не знал. И был сражен.

Нет, конечно, я не верил Васильченко. Летающая голова, ха ха! Малышовые сказки. Понятное дело, что любой рассказчик всего чего нибудь приврет для красоты. Так что я Васильченко совершенно не верил. Но вот что там в продолжениях?

Проснувшись ночью попить, я взглянул в окно. И вздрогнул. В лунном свете мелькнуло что то небольшое, круглое, окутанное белокурыми волосами. То есть мне так показалось. Это, конечно, какая нибудь птица была.

Какая нибудь. Птица.

Конечно.

**«Про личную жизнь»**

Мы с Серым сидели на диване в конце коридора и ничего не делали. Мы вообще то хотели много чего делать, только Толика забрали. Капельницу опять будут ставить. А без Толика как то ничего не делается. Вот мы и не делаем.

На другом конце коридора малышня всякая устроила гонки на колясках. Только они сюда не доезжают. У гонщиков руки короткие, чтобы два колеса равномерно вертеть. Разогнался – и сразу в стену сворачивает. Сам. У нас коляски – ого! Огромные. А те, что поменьше, – те мамы уже разобрали по палатам своих возить. А эти не нужны никому. Кроме гонщиков.

Вам! Ну вот, теперь колесами зацепились и оба в стенку врезались. Хорошо, что они до нашего дивана не доезжают. А то можно было бы им сказать: «Давайте, писклявая команда, валите отсюда! У нас дела!» А так делать нечего. И почему эту дурацкую капельницу именно сейчас надо Толику ставить?

– Вот что в больнице самое плохое, – говорю я Серому. – Никакой тут личной жизни нет.

– Угу, – говорит Серый.

– В семь утра – хлоп! – свет включают, – продолжаю я рассуждать. – А ты, может, еще спишь! А тебе все равно градусник суют.

– Угу, – говорит Серый.

– Хорошо, когда в палате всяких там мам нет, – говорю я. – Или они хоть ничего себе, смирные. Тогда можно градусник отложить пока и доспать немножко. А дежурной сказать, что тридцать шесть и восемь. Они думают, что мы таких цифр придумать не можем, а значит – честно мерили.

– Угу! – кивает Серый.

– Потом таблетки еще. А потом только умоешься – завтрак везут, – продолжаю я. – И опять ничего делать нельзя. Потому что прислушиваешься, как баба Настя тележкой гремит по другим палатам, и думаешь, как бы ее уговорить обменять кашу на два хлеба с маслом. Разве тут порисовать или еще чего получится?

– Угу, – грустно соглашается Серый.

– А после завтрака – самое худшее, – мрачно продолжаю я. – Сиди себе в палате и жди своего лечащего. А может, Андрей Юрьич даже придет. Или студенты. Помнишь, на той неделе студенты приходили?

– Угу, – кивает Серый.

– Вот так вот сидишь и все утро ждешь, пока кто нибудь придет, – говорю я. – А лечащий десять минут тебя посмотрит и даже не говорит, когда выпишут! Целое утро ждать, как будто делать больше нечего!

– Угу, – хмурится Серый.

Про выписку я зря сказал. Он как раз выписываться собирался, а тут этот дурацкий зуб. Так что Серый сидит сейчас с огромным тампоном за щекой и говорит только всякие короткие звуки. Вот не повезло человеку!

– Потом до обеда еще ничего, – торопливо продолжаю я, чтобы отвлечь Серого от мыслей о выписке, – только из отделения выходить нельзя, потому что тогда точно сразу тебя будут искать – на укол, или на рентген, или на еще чего. А так могут и вечером уколоть. Как получится. Так что до обеда часика три личной жизни все таки есть, только в отделении если.

– Угу, – поддакивает Серый.

– А после обеда, – снова мрачнею я, – если Лина Петровна или Ольга Сергевна дежурят – то все, капец. Лежи весь тихий час в кровати, и никаких хождений. Удавиться прям!

– Угу, – говорит Серый.

– Потом в пять часов молоко с печеньем привезут, – совсем безнадежно говорю я. – Потом учительница приходит и еще упражнения спрашивает, потом опять таблетки, и так до вечера никакой личной жизни.

– Ы! – вскакивает Серый и машет рукой.

О! Толик наконец освободился. Ну вот, сейчас мы…

– Кашкин! – кричит Катя Васильевна у двери в нашу палату. – Где ты тут гуляешь? У тебя ж антибиотики, ты забыл?

А! Я вздыхаю и медленно плетусь в палату. Да, антибиотики. И никакой личной жизни.

**Лишь слову жизнь дана (1 ч)**

Такого языка на свете не бывало

**Вс. Рождественский.** «В родной поэзии совсем не старовер…»

В родной поэзии совсем не старовер,  
Я издавна люблю старинные иконы,  
Их красок радостных возвышенный пример  
И русской красоты полет запечатленный.

Мне ведома веков заветная псалтырь,  
Я жажду утолять привык родною речью,  
Где ямбов пушкинских стремительная ширь  
Вмещает бег коня и мудрость человечью.

В соседстве дальних слов я нахожу родство,  
Мне нравится сближать их смысл и расстоянья,  
Всего пленительней для нёба моего  
Раскаты твердых «р» и гласных придыханья.

Звени, греми и пой, волшебная струя!  
Такого языка на свете не бывало,  
В нем тихий шелест ржи, и рокот соловья,  
И налетевших гроз блескучее начало.

Язык [Державина](https://rustih.ru/gavrila-derzhavin/) и лермонтовских струн,  
Ты — половодье рек, разлившихся широко,  
Просторный гул лесов и птицы Гамаюн  
Глухое пение в виолончели [Блока](https://rustih.ru/aleksandr-blok/).

Дай бог нам прадедов наследие сберечь,  
Не притупить свой слух там, где ему все ново,  
И, выплавив строку, дождаться светлых встреч  
С прозреньем [Пушкина](https://rustih.ru/aleksandr-pushkin/) и красками Рублева.

В неповторимые, большие времена  
Народной доблести, труда и вдохновенья  
Дай бог нам русский стих поднять на рамена,  
Чтоб длилась жизнь его, и сила, и движенье!

***Резерв на вариативную часть программы – 2 ч.***